

Владимир Набоков

Соглядатай

Посвящается моей жене

1

С этой дамой, с этой Матильдой, я познакомился в мою первую берлинскую осень. Мне только что нашли место гувернера – в русской семье, еще не успевшей обнищать, еще жившей призраками своих петербургских привычек. Я детей никогда не воспитывал, совершенно не знал, о чем с детьми говорить, как держаться. Их было двое: мальчишки. Я чувствовал в их присутствии унижительное стеснение. Они вели счет моим папиросам, и это их ровное любопытство так на меня действовало, что я странно, на отлете, держал папиросу, словно впервые курил, и все ронял пепел к себе на колени, и тогда их ясный взгляд внимательно переходил с моей дрожащей руки на бледно-серую, уже размазанную по ворсу пыльцу. Матильда бывала в гостях у их родителей и постоянно оставалась ужинать. Как-то раз шумел проливной дождь, ей дали зонтик, и она тогда сказала: «Вот и отлично, большое спасибо, молодой человек меня проводит и принесет зонт обратно». С тех пор вошло в мои обязанности ее провожать. Она, пожалуй, нравилась мне – эта разбитная, полная, волоокая дама с большим ртом, который собирался в пурпурный комок, когда она, пудрясь, смотрелась в зеркальце. У нее были тонкие лодыжки, легкая поступь, за которую многое ей прощалось. От нее исходило щедрое тепло: как только она появлялась, мне уже мнилось, что в комнате жарко натоплено, и когда, отведя восвоеси эту большую живую печь, я возвращался один среди чмокания и ртутного блеска безжалостной ночи, было мне холодно, холодно до омерзения. Потом приехал из Парижа ее муж и стал с ней бывать в гостях вместе, – муж как муж, я мало на него обратил внимания, только заметил его манеру коротко и гулко откашливаться в кулак, перед тем как заговорить, и тяжелую, черную, с блестящим набалдашником трость, которой он постукивал об пол, пока Матильда, восторженно захлебываясь, превращала прощание с хозяйкой дома в многословный монолог. Муж спустя месяц отбыл, и в первую же ночь, что я снова провожал Матильду, она предложила мне подняться к ней наверх, чтобы взять книжку, которую давно увещевала меня прочесть, – что-то по-французски о какой-то русской девице Ариадне. Шел, как обычно, дождь, вокруг фонарей дрожали ореолы, правая моя рука утопала в жарком кротовом меху, левая держала раскрытый зонтик, в который ночь била, как в барабан. Этот зонтик, – потом, в квартире у Матильды, – распятый вблизи парового отопления, все капал, капал,

ронял слезу каждые полминуты и так наплакал большую лужу. А книжку взять я забыл.

Матильда была не первой моей любовницей. До нее любила меня домашняя портниха в Петербурге, тоже полная и тоже все советовавшая мне прочесть какую-то книжку («Мурочка, история одной жизни»). Обе они, эти полные женщины, издавали среди телесных бурь тонкий, почти детский писк, и мне казалось иногда, что не стоило проделать все, что я проделал, то есть, помирая со страху, переехать финскую границу (в курьерском поезде, правда, и с прозаическим пропуском), чтобы из одних объятий попасть в другие, почти тождественные. К тому же Матильда стала вскоре меня томить. У нее был один постоянный, гнетущий меня разговор – о муже. «Этот человек – благородный зверь. Он меня бы убил на месте, если б узнал. Он обожает меня и дико ревнив. Он в Константинополе шлепал одним французом об пол, как тряпкой. Он страстен до жути. Но в своей жестокости он красив». Я старался переменить разговор, но это был Матильдин конек, на который она садилась плотно и с удовольствием. Образ мужа, создаваемый ею, было трудно слить с обликом человека, которому я так мало уделил внимания, и вместе с тем мне было чрезвычайно неприятно думать, что, может быть, это вовсе не ее добротная фантазия и действительно сейчас в Париже, почуя беду, тарашит глаза, скрипит зубами и сильно дышит через нос ревнивый изверг.

Бывало, плетусь домой, портсигар пуст, от рассветного ветерка горит лицо, как после грима, каждый шаг отдается гулкой болью в голове, и вот, поворачивая так и сяк мое плохонькое счастье, я дивлюсь, я жалею себя, я чувствую уныние и страх. В самом деле: человеку, чтобы счастливо существовать, нужно хоть час в день, хоть десять минут существовать машинально. Я же, всегда обнаженный, всегда зрячий, даже во сне не переставал наблюдать за собой, ничего в своем бытии не понимая, шалея от мысли, что не могу забыться, и завидуя всем тем простым людям – чиновникам, революционерам, лавочникам, – которые уверенно и сосредоточенно делают свое маленькое дело. У меня же оболочки не было. И в эти страшные, нежно-голубые утра, цокая каблукom через пустыню города, я воображал человека, потерявшего рассудок, оттого что он начал бы явственно ощущать движение земного шара. Ходил бы он балансируя, хватаясь за мебель, или садился бы у окна, возбужденно улыбаясь, как пассажир, который в поезде вам вдруг говорит: «Здорово шпарит!» Но вскоре, от всей этой шаткости и качки, его стало бы тошнить, он сосал бы лимон и лед, ложился бы плашмя на пол, и все – понапрасну. Движение остановить нельзя, машинист слеп, а тормоза не найти, – и умер бы он от разрыва сердца, когда скорость стала бы невыносимой.

И я был так одинок. Матильда, которая лукаво спрашивала меня, не пишу ли стихов, Матильда, которая на лестнице или у подъезда искусно науськивала меня на поцелуй, только чтобы иметь повод отряхнуться и страстно прошипеть: «Сумасшедший мальчик...» – Матильда, конечно, была не в счет. Кого же я еще знал в Берлине? Секретаря благотворительного общества, семью, где служил гувернером, владельца русского книжного магазина Вайнштока, старушку немку, у которой

прежде снимал комнату, – вот и обчелся. Таким образом, всем своим незащитным бытием я служил заманчивой мишенью для несчастья. Оно и приняло приглашение.

Было около шести. Воздух в комнатах по-сумеречному тяжелел, я едва различал строки смешного чеховского рассказа, который спотыкавшимся голосом читал моим воспитанникам, но не смел включить свет: у них было, у этих мальчишек, странное, недетское тяготение к экономности, гнусная какая-то хозяйственность, они в точности знали, сколько стоит колбаса, масло, свет, различные породы автомобилей... И, читая им вслух «Роман с контрабасом», тщетно пытаюсь их развеселить и чувствуя стыд за себя и за бедного автора, я знал, я знал, что они отлично видят мою борьбу с сумеречной мутью и холодно следят, выдержу ли я до той минуты, когда в доме напротив, подавая пример, зажжется первая лампа. Я выдержал и был награжден светом. Только что я приготовился придать голосу большую живость (приближалось самое уморительное место в рассказе), как вдруг из прихожей позвал телефон. Мы были одни дома, мальчики сразу вскочили и бросились наперегонки по направлению к звону. Я же остался сидеть с раскрытой книгой на коленях, нежно улыбаясь прерванной строке. Оказалось, что вызывают меня. Я сел в хрустящее кресло, приложил трубку к уху. Мои ученики стояли подле – один справа, другой слева, невозмутимо меня сторожа. «Сейчас собираюсь к вам, – сказал мужской голос. – Вы будете дома, надеюсь?» Я спросил: «Кто говорит?» – «Не узнаете? Тем лучше – будет сюрприз», – сказал голос. «Но я хочу знать кто», – настаивал я со смехом. (Потом я не мог без ужаса и стыда вспомнить жеманную игривость моего тона.) «Преждевременно», – сухо сказал голос. Тут я вконец расшалился: «Отчего? Отчего? Вот это забавно...» Заметив, что говорю с пустотой, я пожал плечами и повесил трубку. Мы вернулись в гостиную, я сказал: «Ну, где же, значит, мы остановились?» – и, найдя место, продолжал чтение.

Но мне было как-то беспокойно. Механически читая вслух, я все рассуждал про себя, кто этот гость. Приезжий из России, быть может? Я смутно перебрал знакомые лица, знакомые голоса – их было, увы, немного, – остановился почему-то на студенте Ушакове... Мой единственный университетский год, небогатый встречами, хранил этого Ушакова, как сокровище. Когда, среди разговора, при случайном упоминании о «Гаудеамусе» и студенческой бесшабашности, я делал знающее, слегка мечтательное лицо, то это относилось к Ушакову, хотя, видит Бог, я беседовал с ним всего дважды (о политических или иных пустяках, не помню). Вряд ли, однако, он был бы так таинственен по телефону. И я терялся в догадках, воображая то агента коммунистического союза, то чудака-миллионщика, которому нужен секретарь.

Звонок. Мальчики опять опрометью бросились в прихожую. Я тоже вышел посмотреть. Они с удовольствием, со знанием дела отодвинули стальной

болтик, что-то еще поковыряли, и дверь открылась...

Странное воспоминание... Даже теперь, когда многое изменилось, – даже теперь я слегка замираю, вызывая из памяти, как опасного преступника из камеры, то странное воспоминание. Тогда-то обрушилась, совершенно беззвучно – как на экране, – целая стена моей жизни. Я понял, что сейчас случится нечто потрясающее, но на лице у меня, несомненно, была улыбка, и, кажется, угодливая, и моя рука, которая тянулась, обреченная встретить пустоту, эту пустоту предчувствовала и все-таки до конца пыталась довести жест, звеневший у меня в голове словами: элементарная вежливость. «Убрать руку», – было первое, что сказал гость, глядя на мою протянутую и уже опускавшуюся в бездну ладонь.

Недаром я давеча не узнал его голоса. То, что телефон передал как некоторую натуженность, искажившую знакомый тембр, было на самом деле совершенно исключительным бешенством, густым звуком, которого я до тех пор не слышал ни в одном человеческом голосе. И как живая картина стоит эта сцена у меня в памяти: ярко озаренная прихожая, я, не знающий, что делать с непринятой моей рукой, справа мальчик, слева мальчик, глядящие оба не на гостя, а почему-то на меня, и сам этот гость, в оливковом макинтоше с модными нашивками на плечах, такой бледный, словно огорошенный магнием, – глаза навывкате, черный равнобедренный треугольник подстриженных усов над ядовито-пухлой губой. И вдруг началось легкое, сперва еле приметное движение: его губы, расклеившись, чмокнули, черная, толстая трость в его руке чуть дрогнула, и я уже не мог отвести глаза от этой трости. «В чем дело? – спросил я. – В чем дело? Недоразумение, кажется... Кажется, какое-то недоразумение...» И тут для непристроенной и еще томившейся моей руки я нашел унижительное, невозможное место: в смутном стремлении сохранить свое достоинство я опустил руку на плечо ученика; мальчик же усмехнулся и покосился на мою кисть. «Вот что, господин хороший, – вдруг брызнул гость, – отойдите-ка от них малость: я их трогать не буду, можете не защищать, – а мне нужен простор, так как я собираюсь из вас пыль выколачивать». – «Вы в чужом доме, – сказал я. – Вы не имеете права скандалить. Я не понимаю, чего вы от меня хотите...»

Он меня ударил. Он тростью хватил меня по плечу, горячо и звучно, и я от силы удара ухнул в сторону, плетеное кресло отпрянуло от меня как живое. Он размахнулся опять, скаля зубы; удар пришелся по моей поднятой руке. Тогда я отступил, проскочил боком в гостиную, а он за мной. И вот еще любопытная подробность: я ведь в голос кричал, звал его по имени и отчеству, громко спрашивал его, что я ему сделал. Когда он опять меня настиг, я попробовал защититься какой-то схваченной на ходу подушкой, но он выбил ее у меня из рук. «Это безобразие, – крикнул я. – Я безоружный. Меня оклеветали. Вы за это дорого...»

Опять. Отступая, я зашел за стол, и на минуту все оцепенело снова живой картиной. Он стоял, скалясь и подняв трость, а за ним, по сторонам двери, застыли мальчики, – и быть может, воспоминание у меня в этом месте как-то исковеркано, но, ей-богу, мне кажется, что один из них стоял, сложив руки крестом, прислонившись к стене, а другой сидел на ручке кресла, и оба невозмутимо наблюдали за расправой, совершавшейся надо мной. И погода все опять пришло в

движение, мы все четверо перешли в следующую комнату, – он попал мне в бедро, а потом ослепительным и ужасным ударом шарахнул меня по лицу. Любопытно, что я сам никогда бы не мог ударить человека, как бы он меня ни оскорбил, и даже теперь, под его тяжелой тростью, не только не умел перейти в нападение, будучи несведущ в мужественных приемах, но – даже в эти минуты боли и унижения – не представлял себе, что могу поднять руку на ближнего, особенно ежели ближний гневен и мускулист, и не пытался бежать к себе в комнату, где в ящике был револьвер, купленный мною, увы, только для отпуга призраков.

Созерцательное оцепенение моих учеников, различные позы, в которых они, как фрески, застыли по углам той или иной комнаты, предусмотрительность, с которой они зажгли свет, как только я попятился в темную столовую, – все это, должно быть, обман восприятия, отдельные впечатления, которым я придал значительность и постоянство, столь же условные, впрочем, как на репортерском снимке согнутая в колене нога пешехода с портфелем (такой-то по пути на конференцию). На самом же деле они, по-видимому, не все время присутствовали при моей казни, была какая-то минута, когда, боясь за родительскую мебель, они деловито принялись звонить в полицию, – попытка, сразу пресеченная громовым окриком, – но я не знаю, куда поместить эту минуту, в начало или в самый конец, после того апофеоза страдания и ужаса, когда, упав мешком на пол, я подставлял круглую спину ударам и хрипло повторял: «Довольно, довольно, у меня больное сердце, довольно, у меня больное...» Сердце мое, отмечу в скобках, всегда работало исправно.

И через некоторое время все кончилось. Он закурил, громко дыша и гремя спичечной коробкой; постоял, поглядел и, сказав что-то о маленьком уроке, поправил на голове шляпу и поспешно вышел. Я сразу встал с полу и направился к себе в комнату. Мальчики бегом последовали за мной. Один из них попробовал пролезть в мою дверь. Я отшвырнул его ударом локтя и, знаю, сделал ему больно. Дверь я запер на ключ, обмыл лицо, чуть не крича от едкого прикосновения воды, и затем, вытащив из-под кровати чемодан, принялся укладывать вещи. Это было трудно, ломило в спине, левая рука плохо действовала, слепили слезы.

Когда, в пальто, неся тяжелый чемодан, я вышел в прихожую, мальчики сразу опять появились. Я на них даже не взглянул. Спускаясь по лестнице, я чувствовал, как они сверху смотрят на меня, перегнувшись через перила. Пониже я встретил учительницу музыки, приходившую как раз по вторникам. Это была кроткая русская девица в очках, с толстыми, кривыми ногами. Я не поклонился ей, отвернул опухшее лицо и, подгоняемый смертельной тишиной ее удивления, выскочил на улицу.

До того как покончить с собой, я хотел по традиции написать кое-какие письма да посидеть хоть пять минут в безопасности, а потому, кликнув таксомотор, отправился туда, где жил раньше. По счастью, знакомая мне комнатка оказалась свободной, и старушка хозяйка стала сразу стелить мне постель... Напрасные хлопоты. Я с нетерпением ждал

ее ухода, она возилась долго, наполняла водой кувшин, графин, затягивала штору, что-то дергала, с разинутым черным ртом глядя вверх. Наконец, помяукав, она ушла.

Пошлый, несчастный, дрожащий маленький человек в котелке стоял посреди комнаты, почему-то потирая руки. Таким я на мгновение увидел себя в зеркале. Затем я быстро вынул из чемодана бумагу, конверты, нашел в кармане убогий карандаш и сел к столу. Но оказалось, что писать мне не к кому. Я мало кого знал и никого не любил. Письма отпали, отпало все остальное: мне смутно казалось, что необходимо прибрать вещи, надеть чистое белье, оставив в конверте все мои деньги – двадцать марок – с запиской, кому их отдать. Но тут я понял, что все это решил я не сегодня, а когда-то давно, в разное время, когда беззаботно представлял себе, как люди стреляются. Так закоренелый горожанин, получив неожиданное приглашение от знакомого помещика, покупает в первую очередь фляжку и крепкие сапоги, – не потому, что они могут и впрямь пригодиться, а так, бессознательно, вследствие каких-то прежних непроверенных мыслей о деревне, о длинных прогулках по лесам и горам. Но нет ни лесов, ни гор, – сплошная пашня, и шагать в жару по шоссе неохота. Так и я понял несуразность и условность моих прежних представлений о предсмертных занятиях; человек, решившийся на самоистребление, далек от житейских дел, и засесть, скажем, писать завещание было бы столь же нелепым, как принять в такую минуту средство против выпадения волос, ибо вместе с человеком истребляется и весь мир, в пыль рассыпается предсмертное письмо и с ним все почтальоны, и как дым исчезает доходный дом, завещанный несуществующему потомству.

И вот, то, что я давно подозревал, – бессмысленность мира, – стало мне очевидно. Я почувствовал вдруг невероятную свободу, – вот она-то и была знаком бессмысленности. Я взял двадцатимарковый билет и разорвал его на клочки. Я снял с руки часики, швырнул их на пол и швырял их до тех пор, пока они не остановились. Я подумал, что могу, если захочу, выбежать сейчас на улицу, с непристойными словами обнять любую женщину, застрелить всякого, кто подвернется, расколошматить витрину... Фантазия беззакония ограничена, – я ничего не мог придумать далее.

Опасливо и неловко я зарядил револьвер, затем потушил в комнате свет. Мысль о смерти, так пугавшая меня некогда, была теперь близка и проста. Я боялся, страшно боялся чудовищной боли, которую, быть может, мне пуля причинит, но бояться черного бархатного сна, ровной тьмы, куда более приемлемой и понятной, чем бессонная пестрота жизни, – нет, как можно этого бояться, глупости какие... Стоя посреди темной комнаты, я расстегнул на груди рубашку, наклонился корпусом вперед, нащупал между ребер сердце, бившееся как небольшое животное, которое хочешь перенести в безопасное место и которому не можешь объяснить, что нечего бояться, а напротив, для него же стараешься... но оно было такое живое, мое сердце, – плотно приложить дуло к тонкой коже, под которой оно упруго пульсировало, было мне как-то противно, и потому я слегка отодвинул неудобно согнутую руку, так, чтобы сталь не касалась моей голой груди. Затем я напрягся и

выстрелил. Был сильный толчок, и что-то позади меня дивно зазвенело, – никогда не забуду этого звона. Он сразу перешел в журчание воды, в гортанный водяной шум; я вздохнул, захлебнулся, все было во мне и вокруг меня текуче, бурливо. Я стоял почему-то на коленях, хотел упереться рукой в пол, но рука погрузилась в пол как в бездонную воду.

2

Через некоторое время, если вообще тут можно говорить о времени, выяснилось, что после наступления смерти человеческая мысль продолжает жить по инерции. Я был туго закутан – не то в саван, не то просто в плотную темноту. Я все помнил – имя, земную жизнь – со стеклянной ясностью, и меня необыкновенно утешало, что беспокоиться теперь не о чем. Когда из непонятого ощущения тугих бинтов я с озорной беспечностью вывел представление о госпитале, то сразу, послушно моей воле, выросла вокруг меня призрачная больничная палата, и были у меня соседи – такие же мумии, как я, – по три мумии с каждой стороны. Какая же это здоровенная штука, человеческая мысль, что вот – бьет – поверх смерти, и Бог знает, сколько еще будет трепетать и творить после того, как мой мертвый мозг давно стал ни к чему не способен. И с легким любопытством я подумал о том, как это меня хоронили, была ли панихида и кто пришел на похороны.

Но как цепко, как деловито, словно соскучившись по работе, принялась моя мысль мастерить подобие больницы, подобие движущихся белых людей между коек, с одной из которых доносилось подобие человеческого стона! Благодушно поддаваясь этим представлениям, горяча и поддразнивая их, я дошел до того, что создал цельную естественную картину, простую повесть о неметкой пуле, о легкой сквозной ране; и тут возник мной сотворенный врач и поспешил подтвердить мою беспечную догадку. А затем, когда я стал, смеясь, клясться, что неумело разряжал револьвер, – появилась и моя старушка, в черной соломенной шляпе с вишнями, села у моей койки, полюбопытствовала, как я себя чувствую, и, лукаво грозя пальцем, упомянула о каком-то кувшине, вдребезги разбитом пулей... О, как ловко, как по-житейски просто моя мысль объяснила звон и журчание, сопроводившие меня в небытие.

Я полагал, что посмертный разбег моей мысли скоро выдохнется, но, по-видимому, мое воображение при жизни было так мощно, так пружинисто, что теперь хватало его надолго. Оно продолжало разрабатывать тему выздоровления и довольно скоро выписало меня из больницы. Я вышел на улицу – реставрация берлинской улицы удалась на диво – и поплыл по панели, осторожно и легко ступая еще слабыми, как бы бесплотными ногами. И думал я о житейских вещах, о том, что надо починить часы и достать папирос, и о том, что у меня нет ни гроша. Поймав себя на этих думах, – не очень, впрочем, тревожных, – я живо

вообразил тот телесного цвета с карей тенью билет, который я разорвал перед самоубийством, и мое тогдашнее ощущение свободы, безнаказанности. Теперь, однако, поступок мой приобретал некоторое мстительное значение, и я был рад, что ограничился только печальной шалостью, а не вышел куролесить на улицу, так как я знал теперь, что после смерти земная мысль, освобожденная от тела, продолжает двигаться в кругу, где все по-прежнему связано, где все обладает сравнительным смыслом, и что потусторонняя мука грешника именно и состоит в том, что живучая его мысль не может успокоиться, пока не разберется в сложных последствиях его земных опрометчивых поступков.

Я шел по знакомым улицам, и все было очень похоже на действительность, и ничто, однако, не могло мне доказать, что я не мертв и что все это не загробная греза. Я видел себя со стороны тихо идущим по панели, – я умилялся и робел, как еще неопытный дух, глядящий на жизнь чем-то знакомого ему человека.

Плавное, машинальное стремление привело меня к лавке Вайнштока. Мгновенно напечатанные в угоду мне книги спешно появились в витрине. Одну долю секунды некоторые заглавия были еще туманны: я всмотрелся, туман рассеялся. Когда я вошел, в магазине было пусто, и тусклым адовым пламенем горела в углу чугунная печка. Где-то внизу за прилавком послышалось кряхтение Вайнштока. «Закатилось, – бормотал он напряженно, – закатилось». Погодя он выпрямился, и тут я уличил в неточности свою фантазию, принужденную, правда, работать очень быстро: Вайншток носил усы, а теперь их не было, моя мечта не успела его доделать, и вместо усов было на его бледном лице розоватое от бритья место. «Фу, как вы скверно смотрите, – сказал он, здороваясь со мной, – фу, фу. Что с вами? Хворали?» Я ответил, что действительно – был болен. «Теперь гриппа», – загадочно сказал Вайншток и вздохнул. «Давно не видались, – заговорил он опять. – Скажите, вы тогда службу нашли?» Я ответил, что был одно время губернатором, но теперь это место потерял, и очень хочу курить. Вошел покупатель и спросил русско-испанский словарь. «Кажется, имеется», – сказал Вайншток, повернувшись к полке и пальцем проводя по толстеньким корешкам.

Меж тем мое внимание привлек тихий кашель в глубине магазина. Кто-то, охая, прошуршал, скрытый книгами. «Вы себе завели помощника?» – спросил я у Вайнштока, когда покупатель ушел. «Я его на днях рассчитаю, – тихо ответил Вайншток. – Это абсолютно негодный старик. Мне нужен молодой». – «А как поживает черная рука, Викентий Львович?» – «Если бы вы не были таким злостным скептиком, – внушительно сказал Вайншток, – я сумел бы вам рассказать много интересного». Он немного обиделся, – а это было некстати: призрачная, безденежная моя легкость требовала какого-то разрешения, а моя фантазия создавала довольно никчемный разговор... «Нет, нет, Викентий Львович, почему скептик? Напротив. Вспомните, я из-за этого в свое время раскошелился». Действительно, когда я познакомился с Вайнштоком, то сразу в нем обнаружил родственную мне черту – склонность к навязчивым идеям. Вайншток был убежден, что какие-то люди, которых он с таинственной лаконичностью и со зловещим ударением на первом слоге называл «агенты», постоянно за ним следят. Он намекал на существование черного списка, где будто бы находится

его имя. Я посмеивался над ним, но внутренне холодел. Мне показалось однажды странным, что человек, которого я случайно заметил в трамвае, – неприятный блондин с бегающими глазами, – был в тот же день встречен мною опять: он стоял на углу моей улицы и делал вид, что читает газету. С той поры я начал побаиваться. Я сердился на себя, издевался мысленно над Вайнштоком, но ничего не мог поделать со своим воображением. По ночам мне чудилось, что кто-то лезет ко мне в окно. Наконец я купил револьвер и совершенно успокоился. На этот расход (тем более нелепый, что «ваффеншайн» у меня отняли) я теперь и намекал Вайнштоку. «На что вам оружие? – ответил он. – Они хитрые как бестии. Против них возможна только одна защита – мозги. Моя организация...» Он вдруг подозрительно вскинул на меня глаза, как будто сказал лишнее. Тогда я решился – объяснил, стараясь говорить шутливо, что мое положение странное, занимать денег больше негде, а жить и курить нужно, – и, говоря все это, я вспоминал развязного незнакомца с выбитым передним зубом, который как-то явился к матери моих воспитанников и совершенно таким же шутливым тоном рассказал, что ему нужно ехать вечером в Висбаден и не хватает ровно девяноста пфеннигов. («Ну, насчет Висбаденов вы оставьте, – спокойно сказала она. – А двадцать пфеннигов я вам, так и быть, дам. Больше не могу из чисто принципиальных соображений».) Впрочем, теперь при этом сопоставлении я не ощутил ни малейшего стыда. После выстрела, выстрела, по моему мнению, смертельного, я с любопытством глядел на себя со стороны, и мучительное прошлое мое – до выстрела – было мне как-то чуждо. Этот разговор с Вайнштоком оказался началом новой для меня жизни. Я был теперь по отношению к самому себе посторонним. Вера в призрачность моего существования давала мне право на некоторые развлечения.

Глупо искать закона, еще глупее его найти. Надумает нищий духом, что весь путь человечества можно объяснить каверзной игрою планет или борьбой пустого с туго набитым желудком, пригласит к богине Клио аккуратного секретарчика из мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, народными массами, и тогда несдобровать отдельному индивидууму, с его двумя бедными «у», безнадежно аукающимся в чащобе экономических причин. К счастью, закона никакого нет, – зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж, – все зыбко, все от случая, и напрасно старался тот расхлябанный и брюзгливый буржуа в клетчатых штанах времен Виктории, написавший темный труд «Капитал» – плод бессонницы и мигрени. Есть острая забава в том, чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя – что было бы, если бы... заменять одну случайность другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, прошедшей незаметно и бесплодно, вырастает дивное розовое событие, которое в свое время так и не вылупилось, не просияло. Таинственна эта ветвистость жизни: в каждом былом мгновении чувствуется распутие, – было так, а могло бы быть иначе, – и тянутся, двоятся, троятся несметные огненные извилины по темному полю прошлого.

Все эти простые мысли – о зыбкости жизни – приходят мне на ум, когда я думаю о том, как легко могло случиться, что я никогда бы не попал в дом номер пять на Павлинъей улице, никогда бы не узнал ни Вани, ни Ваниной сестры, ни Романа Богдановича, ни многих других людей, так неожиданно и непривычно заживших вокруг меня. И наоборот... Поселись я

после призрачного выхода из больницы в другом доме, быть может, немислимое счастье запросто бы со мной разговорилось, – как знать... как знать...

Надо мной, в верхнем, надстроенном, этаже жили русские. Познакомил меня с ними Вайншток, у которого они брали книги, – тоже очаровательный прием со стороны фантазии, управляющей жизнью. До настоящего знакомства были, впрочем, постоянные встречи на лестнице и те слегка тревожные взгляды, которыми за границей обмениваются русские. Ваню я отметил сразу, и сразу почувствовал сердцебиение, как во сне, когда добыча мечты тут, у тебя в комнате, – подойди и схвати. Молодая дама с милым бульдожьим лицом оказалась впоследствии Ваниной сестрой, Евгенией Евгеньевной. Муж Евгении Евгеньевны, веселый господин с толстым носом, тоже был порождением лестницы. Я ему придержал как-то дверь, и его немецкое – «спасибо» в точности прорифмовало с предложным падежом банка, в котором он, кстати сказать, служил.

У них жила родственница, Марианна Николаевна, и по вечерам бывали гости, почти всегда одни и те же. Хозяйкой дома считалась Евгения Евгеньевна. У нее был приятный юмор, – она-то и прозвала сестру Ваней, в те годы, когда меньшая требовала, чтобы ее звали Монна-Ванной, находя в звуке своего имени – Варвара – что-то толстое и рябое. Я не сразу привык к этому мужскому уменьшительному; постепенно же оно приняло для меня как раз тот оттенок, который грезился Ване в томных женских именах. Сестры были похожи друг на дружку, но откровенная бульдожья тяжеловатость лица старшей была у Вани только чуть-чуть намечена, и была иначе, и как бы придавала значительность и своеобразность общей красоте ее лица. Похожи у сестер были и глаза, черно-карие, слегка асимметричные, слегка раскосые, с забавными складками на темных веках. У Вани глаза были еще бархатнее и, в отличие от сестриных, несколько близоруки, точно их красота делала их не совсем пригодными для употребления. Обе были темноволосы и носили одинаковые прически – пробор посредине и большой, плотный узел низко на затылке. Но у старшей волосы не лежали с такой небесной гладкостью, лишены были драгоценного отлива... Мне хочется стряхнуть Евгению Евгеньевну, отставить ее совсем, чтобы сестер не приходилось сравнивать, и вместе с тем я знаю, что, не будь этого сходства, чего-то бы недоставало Ваниному обаянию. Вот только руки у нее были неизящные, – бледная ладонь как-то не соответствовала верхней стороне, красноватой, с большими костяшками. И на круглых ногтях были всегда белесые пятнышки.

Какое еще нужно напряжение, до какой еще пристальности дойти, чтобы словами передать зримый образ человека? Вот обе сестры сидят на диване, Евгения Евгеньевна в черном бархатном платье с большими бусами на белой шее, Ваня в малиновом, с мелкими жемчугами вместо бус, глаза у нее сияют, переносица между черных бровей почему-то запудрена. Сестры в одинаковых новых туфлях и вот то и дело поглядывают друг дружке на ноги, – и на чужой ноге, верно, выглядит лучше, чем на своей. Их родственница, Марианна Николаевна, белокурая женщина-врач с интенсивной манерой говорить, рассказывает Смурову и Роману Богдановичу об ужасах гражданской войны. Муж Евгении Евгеньевны, Хрущов, – веселый господин с толстым, бледным носом,

который он постоянно тискает, потягивает, пытается отвернуть сбоку, уцепившись за ноздрю, – говорит на пороге соседней комнаты с Мухиным, молодым человеком в пенсне. Оба стоят по бокам двери, друг против друга, как кариатиды.

Мухин и величавый Роман Богданович давно уже бывают здесь, Смуров же появился сравнительно недавно, но этого сразу не скажешь. Не было застенчивости, которая так выделяет человека среди людей, хорошо друг друга знающих, связанных между собой условными отзвуками бывших шуток, живыми для них именами, так что новопоявившийся чувствует себя как если бы он вдруг спохватился, что повесть, которую он принялся читать в журнале, началась уже давно, в каких-то предыдущих, неизвестных номерах, и, слушая общий разговор, богатый намеками на неведомое, он молчит, переводит взгляд с одного на другого, смотря по тому, кто говорит, – и чем быстрее реплики, тем подвижнее его глаза; вскоре незримый мир, живущий в словах окружающих, начинает его тяготить, ему кажется, что нарочно затеян разговор, куда он не вхож. Но если порой Смуров и чувствовал себя неловко, он, во всяком случае, не показывал этого. Признаюсь, в те первые вечера он на меня произвел довольно приятное впечатление. Был он роста небольшого, но ладен и ловок, его скромный черный костюм и черный галстук бантиком, казалось, сдержанно намекают на какой-то тайный траур. Его бледное, тонкое лицо было молодо, но чуткий наблюдатель мог бы в его чертах найти следы печали и опыта. Он держался прекрасно, улыбался спокойной, немного грустной улыбкой, медлившей у него на губах. Говорил он мало, но все высказываемое им было умно и уместно, а редкие шутки его, слишком изящные, чтобы вызвать бурный смех, открывали в разговоре потайную дверцу, впуская неожиданную свежесть. Казалось, что он не мог сразу же не понравиться Ване, – именно этой благородной, загадочной скромностью, бледностью лба и узостью рук... Кое-что – например, слово «благодарствуйте», произносимое полностью, с сохранением букета согласных, – должно было непременно открыть чуткому наблюдателю, что Смуров принадлежит к лучшему петербургскому обществу.

Марианна Николаевна, говорившая об ужасах войны, на мгновение умолкла, почувствовав наконец, что бородатый и пышный Роман Богданович давно хочет вставить свое словцо, которое он держал во рту, как большую карамель; но ему не повезло, Смуров оказался проворнее.

«Внимая ужасам войны, – сказал с улыбкой Смуров, – мне не жаль ни друга, ни матери друга, а жаль мне тех, кто на войне не побывал. Трудно передать, какое музыкальное наслаждение в жужжании пуль – или когда летишь карьером в атаку...»

«Война всегда отвратительна, – сухо перебила Марианна Николаевна. – Я, вероятно, иначе воспитана, чем вы. Человек, отнимающий жизнь у другого, всегда убийца, будь он палач или кавалерист».

«Я лично...» – сказал Смуров, но она опять перебила:

«Военная доблесть – это пережиток прошлого. В течение моей врачебной практики мне часто приходилось видеть людей, искалеченных и выбитых

из жизни войной. Человечество теперь стремится к другим идеалам. Нет ничего унижительнее, чем быть пушечным мясом. Может быть, другое воспитание...»

«Я лично...» – сказал Смуров.

«Другое воспитание, – быстро продолжала она, – в идеях гуманности и общекультурных интересов заставляет меня на это смотреть другими глазами, чем вы. Я ни в кого не палила и никого не закалявала. Будьте покойны – среди врачей, моих коллег, больше найдется героев, чем на поле битвы...»

«Я лично...» – сказал Смуров.

«Но довольно об этом, – отрезала Марианна Николаевна. – Я вижу, что ни вы меня не убедите, ни я вас. Прения закончены».

Наступило легкое молчание. Смуров спокойно размешивал ложечкой чай. Да, очевидно, он – бывший офицер, смельчак, партнер смерти, и только из скромности ничего не говорит о своих приключениях.

«А я вот что хотел рассказать, – грянул Роман Богданович. – Вы упомянули о Константинополе, Марианна Николаевна. Был у меня там один хороший знакомый – некий Кашмарин, впоследствии я с ним поссорился, он был страшно резок и вспыльчив, хотя отходчив и по-своему добр. Он, между прочим, одного француза избил до полусмерти – из ревности. Ну вот, он мне рассказал следующую историю. Рисует нравы Турции. Представьте себе...»

«Неужели избил? – прервал Смуров с улыбкой. – Вот это здорово, люблю...»

«До полусмерти», – сказал Роман Богданович и пустился в повествование.

Смуров, слушая, одобрительно кивал, и было видно, что такой человек, как он, несмотря на внешнюю скромность и тихость, таит в себе некий пыл и способен в минуту гнева сделать из человека шашлык, а в минуту страсти женщину умыкнуть под плащом, ветреной ночью, как сделал кто-то в рассказе Романа Богдановича. Ваня, если разбиралась в людях, должна была это заметить.

«У меня все подробно в дневнике изложено», – самодовольно закончил Роман Богданович и хлебнул чаю.

Мухин и Хрущов опять застыли по косякам; Ваня и Евгения Евгеньевна оправили платья на коленях совершенно одинаковым жестом; Марианна Николаевна ни с того ни с сего устала сидеть на Смурова, который сидел к ней в профиль и, по рецепту мужественных тиков, играл желваками скул под ее недоброжелательным взглядом. Он мне нравился, да, он мне нравился, – и я чувствовал, что чем пристальнее смотрит Марианна Николаевна, культурная женщина-врач, тем отчетливее и стройнее растет образ молодого головореза, с железными нервами, бледного от прежних бессонных ночей в степных балках, на разрушенных снарядами

станциях. Казалось, все обстоит благополучно.

3

Викентий Львович Вайншток, у которого Смуров служил в приказчиках (сменив негодного старика), знал о нем меньше, чем кто-либо. В характере у Вайнштока была доля приятной азартности. Этим, вероятно, объясняется, что он дал у себя место малознакомому человеку. Его подозрительность требовала постоянной пищи. Как у иных нормальных и совершенно почтенных людей вдруг оказывается страсть к собиранию стрекоз или гравюр, так и Вайншток, внук старьевщика, сын антиквара, солидный, уравновешенный Вайншток, всю свою жизнь занимавшийся книжным делом, устроил себе некий отдельный маленький мир. Там, в полутьме, происходили таинственные события.

Индия вызвала в нем мистическое уважение: он был одним из тех, кто при упоминании Бомбея представляет себе не английского чиновника, багрового от жары, а непременно факира. Он верил в чох и в жох, в чет и в чорта, верил в символы, в силу начертаний и в бронзовые, голопузые изображения. По вечерам он клал руки, как застывший пианист, на легонький столик о трех ножках: столик начинал нежно трещать, цыкать кузнечиком и затем, набравшись сил, медленно поднимался одним краем и неуклюже, но сильно ударял ножкой об пол. Вайншток вслух читал азбуку. Столик внимательно следил и на нужной букве стучал. Являлся Цезарь, Магомет, Пушкин и двоюродный брат Вайнштока. Иногда столик начинал шалить, поднимался и повисал в воздухе, а не то предпринимал атаку на Вайнштока, бодал его в живот, и Вайншток, добродушно успокаивая духа, словно укротитель, нарочно поддающийся игривости зверя, отступал по всей комнате, продолжая держать пальцы на столике, шедшем вперевалку. Употреблял он для разговоров также и блюдечко с меткой, и еще какое-то сложное приспособленье, с торчавшим вниз карандашом. Разговоры записывались в особые тетрадки. Это были диалоги такого рода:

ВАЙНШТОК. Нашел ли ты успокоение?

ЛЕНИН. Нет. Я страдаю.

ВАЙНШТОК. Желает ли ты мне рассказать о загробной жизни?

ЛЕНИН (после паузы). Нет...

ВАЙНШТОК. Почему?

ЛЕНИН. Там ночь.

Тетрадок было множество, и Вайншток говорил, что когда-нибудь опубликует наиболее значительные разговоры. И очень был забавен некий дух Абум, неизвестного происхождения, глуповатый и безвкусный, который играл роль посредника, устраивая Вайнштоку свидания с разными знаменитыми покойниками. К самому Вайнштоку он относился с некоторым амикошонством:

ВАЙНШТОК. Дух, кто ты?

ОТВЕТ: Иван Сергеевич.

ВАЙНШТОК. Какой Иван Сергеевич?

ОТВЕТ: Тургенев.

ВАЙНШТОК. Продолжаешь ли ты творить?

ОТВЕТ: Дурак.

ВАЙНШТОК. За что ты меня ругаешь?

ОТВЕТ (столик буйствует). Надул. Я – Абум.

Иногда от Абума, начавшего озорничать, нельзя было отделаться во весь сеанс. «Прямо какая-то обезьяна», – жаловался Вайншток.

Партнершей Вайнштока в этих играх была маленькая розово-рыжая дама с пухлыми ручками, крепко надушенная и всегда простуженная. Позже я узнал, что у них давным-давно связь, но странно откровенный в иных вещах Вайншток ни разу не проговорился об этом, называли они друг друга по имени-отчеству, держались как хорошие знакомые, она часто приходила в магазин и, греясь у печки, читала теософский журнал, выходивший в Риге. Она поощряла Вайнштока в его опытах с потусторонним, причем рассказывала, что у нее периодически оживает в комнате мебель, колода карт перелетает с одного места на другое или рассыпается по ковру, а однажды лампочка, спрыгнув с ночного столика на пол, стала подражать собачке, нетерпеливо натягивающей поводок, шнур в конце концов выскочил, в темноте что-то убежало, и лампочка была найдена в передней у самой двери. Вайншток говорил, что ему, к сожалению, «сила» не дана, что у него нервы как подтяжки, а у медиумов не нервы, а прямо какие-то струны. В материализацию он, впрочем, не верил и только в виде курьеза хранил у себя фотографию, подаренную ему спиритом, на которой изо рта рыхлой, бледной женщины с закрытыми глазами выливалась текущая, облачная масса.

Он любил Эдгара По, приключения, разоблачения, пророческие сны и паутинный ужас тайных обществ. Массонские ложи, клубы самоубийц, мессы демонопоклонников и особенно агенты, присланные «оттуда» (и как красноречиво и жутко звучало это «оттуда») для слежки за русским человеком за границей, превращали Берлин для Вайнштока в город чудес, среди которых он себя чувствовал как дома. Он намекал, что состоит членом большой организации, призванной будто бы распутывать

и разрывать тонкие ткани, которые плетет некий ярко-алый паук, изображенный у Вайнштока на ужасно безвкусном перстне, придававшем его волосатой руке что-то экзотическое. «Они всюду, – говорил он веско и тихо. – Они всюду. Я прихожу в дом, там пять, десять, ну двадцать человек... И среди них, без всякого сомнения, ах, без всякого сомнения, хоть один агент. Вот я говорю с Иван Ивановичем, и кто может побожиться, что Иван Иванович чист? Вот у меня человек служит в конторе, – да, скажем, не в книжной лавке, а в какой-то конторе, я хочу все это без всяких личностей, вы меня понимаете, – ну и разве я могу знать, что он не агент? Всюду, господа, всюду... Это такая тонкая слежка... Я прихожу в дом, там гости, все друг друга знают, и все-таки вы не гарантированы, что вот этот скромный и деликатный Иван Иванович не является...» – и Вайншток многозначительно кивал.

У меня вскоре возникло подозрение, что Вайншток, правда очень осторожно, намекает на кого-то определенного. Вообще же говоря, всякий, кто с ним беседовал, всегда выносил впечатление, что Вайншток не то в него самого метит, не то в общего знакомого. Самое замечательное, что однажды, – и этот случай Вайншток вспоминал с гордостью, – нух его не обманул: человек, с которым он был довольно близко знаком, приветливый, простой, «рубашка нараспашку», как выразился Вайншток, оказался действительно ядовитой советской ягодкой. Мне кажется, ему не так уж было бы обидно упустить шпиона, но страшно было бы обидно не успеть намекнуть шпиону, что он, Вайншток, его раскусил.

Пускай от Смурова веяло некоторой загадочностью, пускай прошлое его было довольно туманно, – но неужели же?.. Вот он, например, за прилавком в своем аккуратном черном костюме, гладко причесанный, с чистым, бледным лицом. Когда входит покупатель, он осторожно приставляет дымящуюся папиросу к краю пепельницы и, потирая тонкие руки, внимательно выслушивает желание вошедшего. Иногда, – особенно если покупает дама, – он с легкой улыбкой, выражающей не то снисхождение к книгам вообще, не то насмешечку над самим собой в роли простого приказчика, дает ценные советы – вот это стоит прочесть, а вот это немного слишком серьезно; вот тут очень увлекательно описана вековечная борьба полов, а вот этот роман неглубокий, но очень блестящий, быстрый, прямо, знаете, как шампанское. И дама, купившая книгу, красногубая дама в котиковой шубе, уносит с собой его привлекательный образ: тонкость рук, немного неловко берущих деньги, матовый голос, скользкую улыбочку, прекрасные манеры. Но в гостях у Евгении Евгеньевны Смуров уже начинал производить на кое-кого несколько другое впечатление.

Жизнь этой семьи в пятом доме по Павлинъей улице была исключительно счастливой. Отец, живший большую часть года в Лондоне, был, по-видимому, щедр, да и сам Хрущов зарабатывал отлично, – но не в том дело: будь они нищие, все равно ничего бы не изменилось, обвевал бы сестер такой же ветерок счастья, непонятно откуда дувший, но чувствуемый самым угрюмым и толстокожим посетителем. Было похоже, что они совершают какое-то веселое путешествие: этот надстроенный этаж плыл как дирижабль. Невозможно было точно определить, где именно находится источник счастья. Я глядел на Ваню, и вот мне уже казалось, что источник найден... Ее счастье было молчаливо. Иногда она

вдруг начинала задавать вопросы и, получив ответ, тотчас умолкала и пристально смотрела на человека своими удивленными, чудесными, плохо видящими глазами. «Где ваши родители?» – спросила она как-то у Смурова. «В лучшем мире», – ответил Смуров и почему-то слегка поклонился. Ваня опять замерла на диване, а Евгения Евгеньевна, подбрасывая на ладони маленький целлулоидный мячик для игры в пинг-понг, сказала, что она помнит мать, а Ваня не помнит. В тот вечер, кроме Смурова и неизменного Мухина, никого не было: Марианна Николаевна была на концерте, Хрущов работал у себя в комнате, не пришел и Роман Богданович, как всегда по пятницам, занятый своим дневником. Мухин, тихий и чинный, молчал, изредка поправляя зажимчик легкого пенснэ на узком своем носу. Он был очень хорошо одет и курил настоящие английские папиросы.

Смуров, пользуясь его молчанием, вдруг разговорился, как еще никогда раньше. Обращаясь преимущественно к Ване, он стал рассказывать, как спасся от смерти.

«Это было в Ялте, – рассказывал Смуров, – после ухода белых. Я отказался эвакуироваться с остальными, так как предполагал организовать партизанский отряд и продолжать борьбу. Мы сперва скрывались в горах. Во время одной перестрелки я был ранен. Пуля, не задев легкого, прошла навылет. Когда я очнулся, то лежал навзничь и надо мной плыли звезды. Что делать? Был я один в горном ущелье и истекал кровью. Я решил добраться до Ялты, – страшно рискованно, но ничего другого я не мог придумать. Я шел всю ночь, с невероятными усилиями, большей частью ползком. На рассвете я наконец очутился в Ялте. Улицы еще спали мертвым сном. Только со стороны вокзала доносились выстрелы. Вероятно, там кого-нибудь расстреливали.

У меня был хороший знакомый, дантист. К нему-то я и направился и захлопал в ладони под его окном. Он выглянул, узнал меня и сразу впустил. Я скрывался у него, пока не зажила рана. Ясно, что моим присутствием я навлекал на него страшную опасность, и потому мне не терпелось уйти. Но куда? Хорошенько подумав, я решил поехать на север, где, по слухам, опять вспыхнула борьба. Как-то вечером я облобызался с моим милым спасителем, он дал мне денег, которые – даст Бог – я когда-нибудь ему верну, – и вот я опять иду по знакомым ялтинским улицам, в очках, с бородкой, одетый в старый френч. Я прямо направился к вокзалу. У входа на перрон стоял красноармеец и проверял документы. У меня был паспорт на имя фельдшера Соколова. Красноармеец посмотрел, сунул мне обратно бумаги, и все сошло бы благополучно, если бы не дурацкая случайность. Я вдруг слышу женский голос, который спокойно говорит: „Это белый, я его хорошо знаю“. Я сохранил самообладание, не обернулся, и хотел пройти на перрон. Но не успел я сделать и трех шагов, как голос – на этот раз мужской – крикнул: „Стой!“ Я стал. Двое солдат и полная, рыхлая женщина в папахе быстро подошли ко мне. „Да, это он, – сказала женщина. – Взять его“. Я узнал в этой коммунистке горничную, прежде служившую у одних моих друзей. Шутили, что она ко мне равнодушна. Своей тучностью и плотоядными губами она была мне чрезвычайно противна. Присоединилось еще трое солдат и человек в полувоенной одежде комиссарского типа. „Пошевеливайся“, – сказал он. Я пожал плечами и хладнокровно заметил, что произошла ошибка. „Там разберем, – сказал

комиссар. – Марш“.

Я думал, что меня поведут на допрос. Оказалось, что пахнет кое-чем похуже. Когда мы дошли до пакгауза и мне было велено раздеться и стать к стене, то я сунул руку за пазуху, делая вид, что расстегиваю френч, и в следующий миг уложил из браунинга одного, другого и бросился бежать. Остальные, конечно, открыли по мне стрельбу. Пуля сбила с меня фуражку. Я обогнул пакгауз, прыгнул через какой-то забор, застрелил человека, который бросился ко мне с лопатой, затем взбежал на железнодорожную насыпь, проскочил перед носом поезда на другую сторону и, пока длинный состав отделял меня от преследования, успел благополучно скрыться».

Далее Смуров рассказывал, как он, под прикрытием темноты, пошел по направлению к морю, как ночевал в порту, среди каких-то бочек, а наутро, в рыбацкой лодке, пустился в одинокое плавание и на пятый день, изможденный, в полуобморочном состоянии, был спасен греческой шхуной. Он рассказывал все это ровным, спокойным, даже скучноватым голосом, будто шла речь о вещах незначительных. Евгения Евгеньевна сочувственно цокала языком, Мухин слушал внимательно и вдумчиво, и раза два тихонько прочистил горло, словно, помимо своей воли, был взволнован рассказом и чувствовал уважение, даже некоторую – хорошую такую – зависть к человеку, бесстрашно и просто заглянувшему в лицо смерти. А Ваня... Да, теперь все было кончено, она не могла не увлечься Смуровым, – и как прелестно ее ресницы расставляли пунктуацию в его речах, какое было трепетное многоточие, когда Смуров остановился, как она покосилась на сестру, – влажный блеск в сторону, – чтобы, вероятно, убедиться, что та не заметила ее возбуждения.

Молчание. Мухин открыл портсигар. Евгения Евгеньевна суетливо спохватилась, что пора звать мужа чай пить. В дверях она обернулась и сказала что-то невнятное о пироге. Ваня вскочила с дивана и последовала за ней. Мухин поднял с полу и осторожно положил на стол ее платочек.

«Дайте мне одну из ваших», – сказал Смуров.

«Пожалуйста», – сказал Мухин.

«Ах, у вас всего одна осталась», – сказал Смуров.

«Берите, берите, – сказал Мухин. – У меня еще есть в пальто».

«Английские всегда пахнут медом», – сказал Смуров.

«Или черносливом, – сказал Мухин. – К сожалению, – добавил он тем же голосом, – в Ялте вокзала нет».

Это было неожиданно и ужасно. Чудесный мыльный пузырь, сизо-радужный, с отражением окна на глянцеви́том боку, растет, раздувается – и вдруг нет его, – только немного щекощущей сырости прямо в лицо.

«До революции, – сказал Мухин, прерывая невозможное молчание, – был,

кажется, проект соединить железной дорогой Ялту и Симферополь. Я хорошо знаю Ялту, не раз там бывал. Скажите, почему вы сочинили всю эту абракадабру?»

О да, Смуров мог бы еще спасти положение, как-нибудь вывернуться, новым остроумным вымыслом или, наконец, просто добродушной шуткой поддержать то, что рушилось с такой тошнотворной скоростью. Но Смуров не только не нашелся, – он сделал худшее, что мог сделать. Понизив голос, он хрипло проговорил: «Я вас очень прошу... пусть это останется между нами». Мухину стало неловко, он поправил пенсне, хотел что-то спросить, но запнулся, так как в это мгновение сестры вернулись. За чаем Смуров мучительно старался казаться веселым. Но его черный костюм был потрепан и пятнист, галстучек, обычно завязанный так, чтобы в узле скрыть протертое место, показывал сегодня жалкую зазубрину, прыщик на подбородке неприятно горел сквозь лиловатые остатки пудры... Так вот в чем дело... Неужто и вправду у Смурова нет загадки и он просто мелкий враль, уже разоблаченный? Так вот в чем дело...

Нет, загадка осталась. Как-то вечером, в другом доме, образ Смурова получил новое, необыкновенное развитие, которое прежде только едва-едва намечалось. В комнате было тихо и темно. Маленькая лампа в углу была прикрыта газетой, и от этого простой газетный лист приобретал удивительную прозрачную красоту. И вот, в этом полусумраке вдруг заговорили о Смурове.

Началось с пустяков. Сперва оборванные, смутные речи, затем назойливые намеки на какого-то инженера, затем страшное имя и отдельные слова: кровь... хлопоты... довольно... Понемногу речь стала связной, и после краткого рассказа о тихой кончине от вполне приличной болезни, странно завершившей редкую по своей мерзости жизнь, – сказано было следующее: «Теперь я предупреждаю. Бойтесь некоего человека. Он идет по моим стопам. Он следит, заманивает, предает. Из-за него уже погибли многие. Молодой вождь собирается перейти границу. Боевая группа. Но сети будут расставлены, группа погибнет. Он следит, заманивает, предает. Будьте начеку. Бойтесь маленького человека в черном. Не доверяйте скромности вида. Я говорю правду...»

«Кто же этот человек?» – спросил Вайншток.

Ответ медлил...

«Я прошу тебя, Азеф, скажи нам, кто этот человек?»

Блюдечко снова побежало по буквам алфавита, скачками, зигзагами. Вайншток записал, прочел вслух знакомое имя. «Слышите? – сказал он, обращаясь в самый темный угол комнаты. – Хорошенькое дело! Вы понимаете, что я этому ни секунды не поверю. Вы не обиделись, надеюсь? И почему бы вы обиделись? Это иногда не исключено на сеансах, что носят чушь», – и Вайншток неестественно рассмеялся.

Положение становилось любопытным. Я уже мог насчитать три варианта Смурова, а подлинник оставался неизвестным. Так бывает в научной систематике. Давным-давно, с лаконическим примечанием «*in pratis Westmanniae*», Линней описал распространенный вид дневной бабочки. Проходит время, и, в похвальном стремлении к точности, новые исследователи дают названия расам и разновидностям этого распространенного вида, так что вскоре нет ни одного места в Европе, где бы летал типический вид, а не разновидность, форма, субспеция. Где тип, где подлинник, где первообраз? И вот наконец проницательный энтомолог приводит в продуманном труде весь список названных форм и принимает за тип двухсотлетний, выцветший, скандинавский экземпляр, пойманный Линнеем, и этой условностью все как будто улажено.

Вот так и я решил докопаться до сущности Смурова, уже понимая, что на его образ влияют климатические условия в различных душах, что в холодной душе он один, а в цветущей душе окрашен иначе.. Я начинал этой игрой увлекаться. Сам я относился к Смурову спокойно. Некоторая пристрастность, которая была вначале, уже сменялась просто любопытством. Зато я познал новое для меня волнение. Как ученому все равно, красив ли или нет цвет крыла, изящен ли или груб рисунок на нем, а важны только видовые приметы, – так и я смотрел на Смурова без эстетических содроганий, но зато находил острейшее ощущение в той систематизации смуровских личин, которую я беспечно предпринял.

Работа была далеко не легкая. Например, я отлично знал, что пресная Марианна Николаевна видит в Смурове блестящего и жестокого воина, «одного из тех, кто вешал направо и налево», как, под большим секретом, в минуту откровенности передала мне Евгения Евгеньевна. Но чтобы точно определить этот образ, мне бы нужно было знать всю жизнь Марианны Николаевны, все то побочное, что оживало в ее душе, когда она смотрела на Смурова, другие воспоминания, другие случайные впечатления и все те световые эффекты, которые во всех душах разные. Разговор с Евгенией Евгеньевной происходил вскоре после отъезда Марианны Николаевны, – говорили, что она уехала в Варшаву, но подразумевалось что-то другое, были глухие недомолвки, и вот, значит, Марианна Николаевна увезла с собой и будет хранить до конца жизни, если никто ее не разуверит, совершенно особое представление о Смурове. «Ну а вы, – спросил я у Евгении Евгеньевны, – вы как думаете?» – «Ах, разве можно так сразу сказать?» – ответила она, и ее милое бульдожье лицо с бархатными глазами еще более выпучилось от улыбки. «Ну а все-таки?» – настаивал я. «Во-первых, застенчивость, – быстро произнесла она. – Да-да, большая доля застенчивости. У меня был двоюродный брат, очень смирный и симпатичный юноша, но, когда он входил в гостиную, где сидело много новых людей, он вдруг начинал посвистывать, чтобы придать себе такой независимый вид, – неглиже с отвагой». – «Ну а еще?» – «Что же еще... Я думаю, впечатлительность, большая впечатлительность, и затем, конечно, молодость, незнание людей...»

Больше ничего нельзя было из нее вытянуть, и образ получался довольно бледный, малопривлекательный. Сильнее же всего меня занимала Ванина версия Смурова. Я думал об этом постоянно. И вот, помню, мы все вместе вышли как-то вечером на улицу, а вечер выдался неудачный: оказалось, что они собираются в театр, и напрасно я лез к ним на шестой этаж. От нечего делать я и вышел их проводить до таксомоторной стоянки. Вдруг замечаю, что забыл дома ключи. «Ах, у нас две связки, – сказала Евгения Евгеньевна, – повезло вам, что мы живем в одном доме. Берите, завтра вернете. Спокойной ночи».

Я пошел домой, и по дороге мне явилась чудесная мысль. Мне представился лощеный фильм-хищник, читающий тайный договор или письмо, найденное на чужом столе. Мой замысел, правда, был очень нечеток. Как-то давно Смуров принес Ване желтую, пятнистую, чем-то похожую на лягушку, орхидею, – и вот, можно было выяснить, не сохранила ли Ваня заветные останки цветка в заветном ящике. Как-то раз Смуров принес Ване томик Гумилева, певца мужественности, – хорошо посмотреть, разрезаны ли страницы и не лежит ли книжка на ночном столике. И была фотография, снятая при вспышке магния, где Смуров вышел великолепно – очень бледным, с поднятой бровью, слегка в профиль, – и рядом Ваня, а Мухин – на заднем плане. Да и вообще, мало ли что можно открыть... Решив, что если встречу горничную, очень, кстати сказать, хорошенькую девицу, – объясню, что пришел отдать ключи, я тихохонько отпер дверь и на цыпочках свернул в знакомую гостиную.

Забавно застать чужую комнату врасплох. Мебель, когда я включил свет, оцепенела от удивления. На столе лежало письмо – опустошенный конверт, – как старая ненужная мать, – и листок, в сидячем положении, как большое дитя. Но жадность, трепет, стремительное движение руки – все это оказалось не к месту. Письмо было от неизвестного мне лица, от какого-то дяди Паши. Ни одного намека на Смурова. И если это был шифр, то все равно ключа я не знал... Я перепорхнул в столовую. Изюм и орехи в вазе, и рядом, на буфете же, распластанная, ничком лежащая книга – приключения какой-то русской девицы Ариадны. Дальше, в Ваниной спальне, было холодно от раскрытого окна, и странно было глядеть на кружевной убор постели и на туалетный алтарь, где мистически блестело граненое стекло. Орхидеи нигде не оказалось, но зато к столбику лампы была прислонена фотография. Ее снял Роман Богданович при вспышке магния: Ваня со светлыми скрещенными ногами, за ней узкое лицо Мухина, а слева от Вани черный локоть – все, что осталось от срезанного Смурова. Улика поразительная! На Ваниной кружевной подушке вдруг появилась звездообразная мягкая впадина – след от удара моего кулака, и вот, я уже был в столовой и, еще вздрагивая, пожирал изюм. Тут я вспомнил секретерчик в гостиной и беззвучно к нему подбежал. Но в это мгновение донеслось с парадной двери металлическое ерзание ключа. Я стал поспешно отступать, поворачивая за собой выключатели, и вот – оказался в маленькой, шелковой комнатке, смежной со столовой. Пошарив в темноте, я натолкнулся на оттоманку и лег плашмя, словно зашел и вздремнул.

Меж тем из прихожей зазвучали голоса – обеих сестер и Хрущева.

Неужели мое бесплотное порхание по комнатам продолжалось три часа? Там успели сыграть пьесу, а тут человек только пробежался через три комнаты... Неужели же целый час я думал над письмом в гостиной, целый час над книгой в столовой, целый час над снимком в странной прохладе спальни?.. Ничего не было общего между моим временем и чужим.

Хрущов, вероятно, сразу пошел спать, так как в столовую сестры вошли одни. Дверь из моей шелковой тьмы была неплотно прикрыта: яркая щель. Я верил, что сейчас узнаю о Смурове все, что хочу.

«...но довольно утомительно, – сказала Ваня и тихо заохала, выражая для меня в звуках зевоту. – Дай мальцбиру, чаю не нужно». Легко шаркнул стул, придвигаемый к столу.

Долгое молчание. Потом голос Евгении Евгеньевны – так близко, что я с опаской покосился на световую щель. «...Главное, пускай он поставит свои условия. Это главное. Не знаю, мне эта пастила не нравится».

Опять молчание. «Хорошо, я ему скажу», – сказала Ваня. Зазвенело что-то, упала, что ли, ложечка, и снова – длинная пауза.

«Посмотри», – сказала Ваня и усмехнулась. «Что это, из дерева?» – спросила сестра. «Не знаю», – сказала Ваня и усмехнулась опять.

Погодя зевнула Евгения Евгеньевна, еще уютнее, чем Ваня.

«Часы стали», – сказала она.

И все. Они сидели еще довольно долго, чем-то звякали, шелкали щипцы и со стуком ложились на скатерть, но разговоров больше не было. Затем опять задвигались стулья, Евгения Евгеньевна вяло проговорила: «Ах, это можно так оставить», – и дивная щель, от которой я столь много ждал, внезапно погасла. Где-то стукнула дверь, далекий Ванин голос что-то сказал, уже неразборчиво, – и затем тишина, темнота. Я еще полежал на оттоманке и вдруг заметил, что уже рассвет, и тогда осторожно выбрался на лестницу, вернулся к себе.

Я представлял себе довольно живо, как Ваня маленькими ножницами отхватывала ненужного ей Смурова. Но могло быть и другое: иногда отрезают, чтобы обрезать отдельно. И вот – чтобы подтвердить эту последнюю догадку – совершенно неожиданно явился из Мюнхена дядя Паша. Он ехал в Лондон к брату и пробыл в Берлине всего два дня. Племянниц своих он очень давно не видел и был склонен вспоминать, как Ваня будто бы ходила под столом и как он – за это хождение, вероятно – перекидывал ее через колени и шлепал. На первый взгляд этот дядя Паша казался бодрым пятидесятилетним мужчиной, но стоило только взглянуть попристальнее, и он у вас на глазах разрушался. Было ему не пятьдесят, а семьдесят, и ничего нельзя было себе представить ужаснее, чем эта смесь молодости и дряхлости. Веселенький, говорливый труп в синем костюме, с перхотью на плечах, очень бровастый, с бритым подбородком и с замечательными кустами в ноздрях, – дядя Паша был подвижен, шумен и любознателен. В первое свое появление он громким шепотом расспрашивал Евгению Евгеньевну про каждого гостя и не стесняясь тыкал то туда, то сюда указательным

пальцем с бледно-лиловым, чудовищно длинным ногтем. А на следующий день произошло одно из тех совпадений, которые почему-то так часты, ибо есть какой-то безвкусный, озорной рок вроде вайнштоковского Абума, который вас заставляет в первый день приезда домой встретить человека, бывшего вашим случайным спутником в вагоне. Чувствуя уже несколько дней странное неудобство в простреленной груди, словно сквозняк, я отправился к русскому доктору, и в приемной сидел, конечно, дядя Паша. Пока я раздумывал, подойти ли к нему или нет (полагая, что со вчерашнего вечера он успел забыть и лицо мое, и фамилию), этот дряхлый болтун, боявшийся утаить крупницу зерна из закров опыта, разговорился с незнакомой ему пожилой дамой, падкой, очевидно, до всякой чужой души. Сначала я за разговором не следил, но вдруг имя Смурова заставило меня встрепетаться. То, что я узнал из торжественных и пошлых слов дяди Паши, было так важно, что, когда он наконец исчез за докторской дверью, я сразу ушел, не дожидаясь очереди, и притом совершенно бессознательно, – словно я к доктору пришел только для того, чтобы послушать дядю Пашу: окончилось представление, и я ушел. «Вообразите, – рассказывал дядя Паша. – Из малютки вышла настоящая роза. Я старый воробей и сразу смекнул: есть кавалер. Вот Женечка мне и говорит: это большой, дядя Паша, секрет, не нужно разглашать, но она давно влюблена в этого самого Смурова. Ну, мое дело, конечно, сторона. Смуров так Смуров. Но смешно подумать: я, бывало, эту девчонку раз-раз! по голеньким ягодицам, а теперь – глядь, и невеста. Прямо молится на него. Ну что ж, мы с вами, сударыня, пожили, – пускай и другие...»

Итак – свершилось. Смуров любим. Очевидно, Ваня, близорукая, но чуткая Ваня, разглядела что-то необычное в Смурове, поняла что-то в нем, его тихость ее не обманула. Вечером того же дня Смуров был особенно тих и скромн. Но теперь, когда наблюдателю было ясно, какое счастье над Смуровым стряслось, – именно стряслось, – ибо есть такое счастье, которое по силе своей, по ураганному гулу, похоже на катастрофу, – теперь можно было разглядеть некий трепет в его тихости, некий румянец радости сквозь его загадочную бледность. И Боже мой, как он смотрел на Ваню! Она опускала ресницы, ноздри у нее вздрагивали, она даже покусывала губы, скрывая от всех свои прелестные чувства. В этот вечер, казалось, что-то должно разрешиться.

Бедного Мухина не было. Хрущов тоже отсутствовал. Зато Роман Богданович (набиравший материал для дневника, который он еженедельно, со стародевичьей аккуратностью, посылал в виде писем приятелю в Ревель) был в тот вечер звучен и навязчив. Сестры, как всегда, сидели на диване. Смуров стоял, облокотившись о рояль, и смотрел, смотрел на гладкий Ванин пробор, на смугло-розовые щеки... Евгения Евгеньевна несколько раз вскакивала и высовывалась в окно: должен был прийти попрощаться дядя Паша, и она хотела непременно поднять его на лифте. «Я его обожаю, – смеясь говорила она. – Он ужасный чудак. Вот вы увидите, он ни за что не позволит, чтобы его поехали провожать». «Вы играете?» – любезно спросил Смурова Роман Богданович, многозначительно косясь на рояль. «Играл когда-то», – спокойно ответил Смуров, поднял крышку, мечтательно посмотрел на оскал клавиатуры и опустил крышку опять. «Я люблю музыку, – конфиденциально сообщил Роман Богданович. – Помнится, когда я был

студентом...» – «Музыка, – сказал Смуров, повысив голос, – иногда выражает то, что в словах невыразимо. В этом смысл и тайна музыки». «Вот он», – крикнула Евгения Евгеньевна и выбежала из комнаты.

«А вы, Варвара Евгеньевна? – грубым и тучным своим голосом спросил Роман Богданович. – Вы – перстами легкими как сон – а? Ну что-нибудь... Какую-нибудь ригурнеллу». Ваня замотала головой и как бы нахмурилась, но тотчас прыснула со смеху и склонила лицо. Она смеялась, верно, над тем, что вот – какой-то чурбан предлагает ей сесть за рояль, когда и так вся ее душа гремит и переливается. В эту минуту можно было видеть на лице у Смурова совершенно неистовое желание, чтобы лифт с Евгенией Евгеньевной и дядей Пашей навеки застрял, чтобы Роман Богданович провалился прямо в пасть к синему персидскому льву, вытканному на ковре, и главное, чтобы исчез я – этот холодный, настойчивый, неутомимый наблюдатель.

Но уже в прихожей сморкался и посмеивался дядя Паша; вот он вошел и остановился на пороге, глупо улыбаясь и потирая руки. «Женечка, – сказал он, – а я ведь здесь, кажется, никого не знаю. Познакомь, познакомь». – «Ах ты, Господи, – сказала Евгения Евгеньевна, – да ведь это ваша племянница». – «Как же, как же», – сказал дядя Паша и добавил что-то возмутительное о бархатных щечках. «Остальных он, вероятно, тоже не узнает», – вздохнула Евгения Евгеньевна и громко стала нас представлять. «Смуров! – воскликнул дядя Паша, и брови его зашетились. – Ну, Смурова-то я уже хорошо знаю. Счастливец, счастливец, – лукаво продолжал он, ощупывая Смурову руки и плечи, – как не знать... Мы знаем все... Одно скажу: береги ее! Это дар небес. Будьте счастливы, мои дети...»

Он повернулся к Ване, но та, прижав скомканный платочек ко рту, выбежала из комнаты. Евгения Евгеньевна, издав странный звук, поспешно последовала за ней. Дядя Паша, однако, не заметил, как неосторожной своей выходкой, непереносимой для нежной души, довел Ваню до слез. Роман Богданович вытаращил глаза и с большим любопытством разглядывал Смурова, который – какие бы чувства он ни испытывал – держался прекрасно.

«Любовь – большая вещь», – сказал дядя Паша, и Смуров вежливо улыбнулся. «Эта девушка – клад. Вы ведь молодой инженер, не правда ли? Работа клеится?» Смуров, не вдаваясь в подробности, сказал, что зарабатывает хорошо. Роман Богданович вдруг хлопнул себя по коленкам и побагровел. «Я вот поговорю о вас в Лондоне, – сказал дядя Паша. – У меня много связей. Да, я еду, я еду. И даже сейчас».

И необыкновенный этот старик, посмотрев на часы, протянул нам руки, и Смуров, от избытка счастья, неожиданно с ним обнялся.

«Ну и дела... Вот чудной!» – сказал Роман Богданович, когда дверь за дядей Пашей захлопнулась.

В гостиную вернулась Евгения Евгеньевна. «Где он?» – спросила она с недоумением и, узнав, что он скрылся, забеспокоилась о том, что дверь внизу заперта. Она побежала на лестницу, но дядя Паша исчез, – и было что-то магическое в его исчезновении.

Евгения Евгеньевна быстро подошла к Смурову. «Пожалуйста, простите моего дядю, – заговорила она. – Я имела глупость рассказать ему про Ваню и Мухина. Он, очевидно, перепутал фамилии. Я сперва совершенно не думала, что он такой гага...»

«А я слушал и думал, что с ума схожу», – вставил Роман Богданович, разводя руками.

«Ну перестаньте, Смуров, перестаньте, – продолжала Евгения Евгеньевна. – Что с вами? Не надо так принимать это к сердцу. Ведь тут ничего нет обидного для вас».

«Я ничего, я просто не знал», – хрипло сказал Смуров.

«Ну как – не знали! Все знают... Это уже сколько времени длится. Да-да, они обожают друг друга. Почти уже два года. Слушайте, что я вам расскажу про дядю Пашу: однажды – еще когда он был сравнительно молод, – нет, вы не отворачивайтесь, это очень интересно, – когда он был сравнительно молод, – шел он как-то по Невскому...»

5

Далее следует короткая пора, когда я перестал наблюдать за Смуровым, отяжелел, оделся прежнею плотью, – словно действительно вся эта жизнь вокруг меня была не игрой моего воображения, а сам я в ней участвовал телом и душой. Если ты не любим, но не знаешь в точности, любим ли возможный соперник, – а если их несколько, не знаешь, который из них счастливее тебя; – если находишься в том исполненном надежд неведении, когда расточаешь на догадки невыносимое иначе волнение, – тогда все хорошо, можно жить. Но беда, когда имя наконец названо, и это имя не твое. Ведь она была очаровательна до слез, во мне поднималась со стоном ужасная соленая ночь при всякой мысли о ней. Ее бархатное лицо, близорукие глаза, нежные губы, которые на морозе сохли и припухали и как бы линяли по краям, расплываясь лихорадочной розоватостью, требовавшей прохлады кольд-крема, ее яркие платья и крупные колени, которые нестерпимо тесно сдвигались, когда она, играя с нами в дурачки, наклоняла черную шелковую голову над картами, и руки ее, грубоватые и холодные, которые особенно сильно хотелось трогать и целовать, – да, все в ней было мучительно и как-то непоправимо... И только во сне, обливаясь слезами, я ее наконец обнимал и чувствовал под губами ее шею и впадину у плеча, – но она всегда вырывалась, и я просыпался, еще всхлипывая. Что мне было до того, глупа ли она или умна, – и какое у нее было детство, и какие она читала книги, и что она думает о мире, – я ничего толком не знал, ослепленный той жгучей прелестью, которая все заменяет и все оправдывает и которую, в отличие от души человека, часто доступной нашему обладанию, никак нельзя себе присвоить, как нельзя

к имуществу своему приобщить яркость облаков в ветреный вечер или запах цветка, который тянешь, тянешь до одури напряженными ноздрями и никогда не можешь до конца вытянуть из венчика. Как-то, на Рождестве, перед балом, на который они все шли без меня, я увидел между двух дверей в зеркальном просвете, как сестра пудрит ей обнаженные лопатки, а в другой раз я заметил у них в ванной комнате особую такую дамскую сеточку для поддержки груди, и это были для меня изнурительные события, которые страшно и сладко влияли на мои сны. Но должен признаться: ни разу во сне я не пошел дальше безнадежного поцелуя (я сам не понимаю, почему я так всегда плакал, когда мы встречались во сне). То, что мне нужно было от Вани, я все равно никогда бы не мог взять себе в вечное свое пользование и обладание, как нельзя обладать окраской облака или запахом цветка. И только когда я наконец понял, что все равно мое желание неутолимо и что Ваня всецело создана мной, я успокоился, привыкнув к своему волнению и отыскав в нем всю ту сладость, которую вообще может человек взять от любви.

Постепенно я начал снова заниматься Смуровым. Между прочим, оказалось, что, несмотря на свое равнодушие к Ване, Смуров под шумок облюбовал горничную Хрущовых – восемнадцатилетнюю девушку, очень привлекательную сонным выражением глаз. Сама-то она вовсе не была сонной: смешно подумать, до каких развратных и игривых ухищрений доходила эта скромная девица – Гретхен или Гильда, не помню, – когда дверь была заперта на ключ и почти голая лампочка на висячем шнуре озаряла фотографию молодца в тирольской шляпе и яблоко с барского стола. Об этом Смуров подробно и не без некоторой гордости рассказывал Вайнштоку, который, ненавидя игривые истории, красноречиво испускал сильное «фу!», когда слышал сальность. Потому-то ему особенно охотно такие вещи и рассказывали.

Смуров проникал к ней черным ходом, оставался у нее долго, – и, по-видимому, Евгения Евгеньевна однажды что-то заметила – поспешное движение в глубине коридора или глухой смех за дверью, – ибо сердито поговаривала о том, что Гильда (или Гретхен) завела себе пожарного. Смуров при этом самодовольно покашливал, – а когда горничная, опустив прелестные, мутные глаза, проходила по комнате с подносом, который медленно и осторожно ставила на стол, после чего сонно поправляла на виске прядь и сонно удалялась, он потирал руки, словно готовясь сказать речь, и невпопад улыбался. Рассказы о том, какое это удовольствие смотреть, как прислуживает горничная, с которой так недавно, мягко топая босыми ногами, танцевал в узкой ее комнатке под отдаленный звук граммофона, доносившийся с господской половины, заставляли Вайнштока морщиться и отплевываться. «Авантюрист, – говорил он, – авантюрист. Дон-Жуан, Казанова...» Про себя же он, несомненно, называл Смурова темной личностью и ждал от легкого столика, в котором ерзал дух Азефа, новых важных откровений. Но этот образ Смурова уже мало меня интересовал, он был обречен на медленное остывание, по отсутствию улик, любезных сердцу Вайнштока. Загадочность, конечно, оставалась, и можно себе представить, как через несколько лет, в другом городе, Вайншток будет вскользь упоминать о странном человеке, который некогда служил у него в приказчиках, а теперь Бог весть куда делся. «Да, странная фигура, – задумчиво будет говорить Вайншток. – Это был человек, сотканный из

недомолвок и скрывающий какую-то тайну. Он мог обесчестить девушку... Кем он был послан и за кем следил – трудно сказать. Но из одного верного источника... Впрочем, я ничего не хочу говорить».

Гораздо занимательнее был образ Смурова в представлении Гретхен (или Гильды). Как-то в январе исчезли из Ваниного шкафа новые шелковые чулки, и тотчас все вспомнили множество мелких пропаж – марку сдачи, оставленную на столе и, как шашку, фукнутую; стеклянную пудреницу, «бежавшую из несессера», как сострил Хрущов; шелковый платок, очень почему-то любимый, – «и куда ты могла его сунуть?»... А однажды Смуров явился в синем галстуке, ярко-синем с павлиньим переливом, – и Хрущов заморгал и сказал, что у него был точь-в-точь такой же галстук, на что Смуров нелепо смутился и больше никогда этого галстука не носил. Но конечно, никому не пришло в голову, что эта дура, украв галстук (она, кстати, говорила, что «галстук – лучшее украшение мужчины»), подарила его – по машинальной привычке – очередному своему другу, о чем с горечью Смуров повествовал Вайнштоку. И не на этом она попала, – а попала, когда Евгения Евгеньевна, в ее отсутствие зайдя к ней в комнату, нашла у нее в комоде коллекцию знакомых вещей, воскресших из мертвых. И вот Гретхен (или Гильда) выехала в неизвестном направлении, и Смуров некоторое время ее разыскивал, но потом бросил и признался Вайнштоку, что хорошенького понемножку. И вечером Евгения Евгеньевна рассказывала, что узнала от швейцарихи необыкновенные вещи. «Не пожарный, вовсе не пожарный, – смеясь говорила Евгения Евгеньевна, – а иностранный поэт, как это прелестно... У иностранца-поэта была несчастная любовь и родовое поместье величиной с Германию, но ему было запрещено вернуться восвояси, как это прелестно... Жалко, швейцариха не спросила фамилию, наверное русский, я даже подозреваю, что это кто-нибудь, кто бывает у нас, – вот, например, этот прошлогодний, ну, этот же, – роковой брюнет, как его...» – «Я знаю, кого ты думаешь, – вставила Ваня. – Ты думаешь – Корф». – «А может быть, кто-нибудь другой, – продолжала Евгения Евгеньевна. – Нет, господа, это так прелестно! Полный души мужчина, духовный мужчина, говорит швейцариха. С ума сойти...» – «Я все это непременно запишу, – сказал сдобным голосом Роман Богданович. – Мой ревельский приятель получит на этот раз интереснейшее письмо». – «Неужели вам не приедается? – спросила Ваня. – Я несколько раз начинала писать и потом всегда бросала, и потом перечитывала, и потом было стыдно за написанное». – «Нет, почему же, – протянул Роман Богданович. – Если писать обстоятельно и постоянно, то делается приятное чувство, чувство самосохранения, так сказать, всю свою жизнь сохраняешь, и впоследствии чтение не лишено любопытства. Вас я, например, описал как дай Бог описать кадровому писателю. Тут черточку, там черточку – и получилась полная картина...» – «Ах, покажите», – сказала Ваня. «Не могу», – с улыбкой ответил Роман Богданович. «Ну покажите Женечке», – сказала Ваня. «Не могу, – хотел бы, да не могу. Мой ревельский приятель складывает у себя рукописи по мере их получения, и копий я нарочно не оставляю, чтобы не было соблазна постфактум подправлять, вычеркивать и так далее. И когда-нибудь, когда Роман Богданович будет очень стар, сядет Роман Богданович за стол и начнет перечитывать свою жизнь. Вот для кого я пишу – для будущего старика с рождественской бородой... И если я тогда найду, что жизнь была богатая, ценная, то оставлю эти мемуары потомкам в назидание». – «А

если все ерунда?» – спросила Ваня. «Кому ерунда, кому нет», – довольно кисло ответил Роман Богданович.

Меня уже давно занимала и несколько тревожила мысль об этом эпистолярном дневнике. Постепенно желание прочесть хоть один отрывок стало страстным терзанием, ежеминутной моей заботой. Я не сомневался, что в этих записях изображен Смуров. Я знал, что очень часто пустой дневник о беседах, о прогулках, о попугаях соседа и о том, что было к завтраку в тот пасмурный день, когда, скажем, казнили короля, – я знал, что такие пустые записи часто живут сотни лет и что читаешь их с удовольствием, – ради привкуса старины, ради названия блюда, ради фестивального простора там, где ныне тесно от больших домов. Да и кроме того, нередко случается, что сам автор, при жизни своей незамеченный, оказывается через двести лет прекрасным писателем, умеющим старомодно легким прикосновением пера увековечить какой-нибудь воздушный пейзаж, дремоту в дилижансе, причуды знакомого... От одной мысли, что образ Смурова может быть так прочно, так надолго запечатлен, меня прохватывал озноб, я шалел от желания, надо было мне во что бы то ни стало просунуться призраком между Романом Богдановичем и его ревельским другом. Богатый некоторым опытом, я вполне был готов к тому, что образ Смурова, предназначенный, быть может, жить бессмертно, на радость книголюбам, окажется для меня сюрпризом, но самое желание обладать этой тайной, увидеть Смурова в будущих веках, так меня ослепляло, что никакое разочарование не было страшно, и я только боялся одного – длительной и кропотливой перлюстрации, ибо трудно было предположить, что в первом же письме, которое я перехвачу, Роман Богданович сразу начнет красноречиво рассказывать (как тот голос, который в полном расцвете сил врывается в слух, когда на минуту включишь радио) именно о Смурове.

Я помню темную улицу и бурную мартовскую ночь. Облака, принимая различные позы, как пьяные на розвальнях, мчались по небу, а я, сгорбившись, придерживая котелок, который, казалось, взорвется как бомба, если отпущу его край, стоял у дома, где жил Роман Богданович, и единственными свидетелями моего ожидания были фонарь, как будто мигавший от ветра, да лист оберточной бумаги, который то бежал по панели, то пытался с постылой резвостью обернуться вокруг моих ног, как я его ни отпихивал. Никогда прежде я такого ветра не испытывал, никогда не видал такого стремительного и простоволосого неба. И это мне мешало. Я пришел, чтобы подсмотреть таинство – Романа Богдановича, в полночь с пятницы на субботу опускающего письмо в почтовый ящик, – мне непременно нужно было это увидеть воочию, прежде чем приступить к разработке смутного плана, который я задумал. Я надеялся, что, как только увижу Романа Богдановича, борющегося с ветром за обладание почтовым ящиком, мой бесплотный план сразу станет живым и отчетливым (он состоял в том, чтобы смастерить мешок с широким отверстием, который я предварительно сунул бы в почтовый ящик, так его закрепив, чтобы письмо, опущенное в щель, попало бы в мой невод). Но теперь мне казалось, что ветер, то гудевший под котелком, то раздувавший мне штаны или заворачивавший их так, что мои ноги становились похожи на ноги скелета, – мне казалось, что этот ветер мешает мне, мешает сосредоточить мысль на картине похищения. Близилась полночь, я знал,

что Роман Богданович пунктуален. Я смотрел на дом и старался угадать, за которым из трех–четырёх освещенных окон сейчас сидит человек, склонившись над ярко–белым листом, и создает, быть может бессмертный, образ Смурова. Затем я переводил взгляд на темный куб, приделанный к чугунной решетке, на темный этот ящик, куда через минуту канет, как в вечность, невысказанное письмо. Стоял я в сторонке, сумрак лихорадочно меня скрывал. Я увидел вдруг, как зажглась желтым светом парадная дверь, и от волнения разжал пальцы, державшие край котелка. В следующий миг я кружился на месте, подняв руки, словно сорванная с меня шляпа еще летала вокруг моей головы. Но раздался легкий стук – котелок колесом побежал по панели, и я кинулся за ним, стараясь на него хотя бы наступить, лишь бы как–нибудь его удержать. На бегу я столкнулся с Романом Богдановичем, он поднимал мою шляпу, а в другой руке держал запечатанный конверт, показавшийся мне белым и огромным. Кажется, его озадачило мое появление на его улице в этот поздний час. На мгновение нас бурно окружил ветер, я заорал приветствие, стараясь перекричать шум этой бешеной ночи, и затем двумя пальцами, легким и точным движением выхватил у Романа Богдановича письмо. «Я опущу, опущу, опущу, – закричал я. – Мне по дороге, по дороге...» Я успел заметить на его лице выражение тревоги и неуверенности, но сразу бросился прочь, отбежал на двадцать шагов к ящику и, делая вид, что что–то в него сую, быстро втиснул письмо в грудной карман. Тут он меня нагнал. Я заметил его клетчатые ночные туфли. «Какие манеры, – сказал он недовольно. – Может быть, я вовсе не собирался... да берите же вашу шляпу... Ну и ветрище...» – «Я спешу, – сказал я, задыхаясь от быстроты ночи. – Всего лучшего, всего лучшего». Моя тень, попав в свет фонаря, вытянулась и меня перегнала, но сразу опять потерялась в темноте, и, как только я покинул эту улицу, ветер прекратился, – было поразительно тихо, и среди этой тишины ярко освещенный трамвай со стоном брал поворот.

Я вскочил в первый попавшийся номер, прельстясь трамвайным праздничным светом, мне нужен был свет непременно, сейчас же... Найдя уютный уголок у передней двери, я с неистовой поспешностью вскрыл конверт. Тут кто–то ко мне подошел, и я, вздрогнув, скомкал письмо. Это был только кондуктор. Я деланно зевнул, спокойно стал платить, но все время прикрывал письмо, опасаясь возможных показаний на суде, ибо ничего нет вреднее этих незаметных свидетелей – кондукторов, шоферов, швейцаров. Он удалился, я развернул письмо. Оно было длинное, страничек десять, исписанных круглым почерком, без единой помарки. Начало было малоинтересно. Я перевернул несколько листов, и вдруг, как знакомое лицо среди туманной толпы, выскочило имя Смурова, это было поразительно удачно...

«Я предполагаю, мой милый Федор Робертович, ненадолго вернуться к этому субъекту. Боюсь, что будет скучно, но, как сказал Веймарский Лебедь, – я имею в виду великого Гёте – (тут следовала немецкая фраза, написанная готическим шрифтом). Поэтому позвольте мне остановиться на господине Смурове и попотчевать Вас небольшим психологическим этюдом...»

Я прикрыл письмо ладонью. В последний раз мне представлялась возможность отказаться от проникновения в тайну смуровского бессмертия. Что мне до того, если даже и впрямь вот это письмо

перевалит в будущий век, в этот невообразимый век, одно начертание которого – двойка и три нуля – фантастично до нелепости? Что мне до того, каким портретом давно умерший автор попотчует, по гнусному его выражению, неведомых потомков? И вообще – не пора ли бросить эту затею, не пора ли прервать охоту, соглядатайство, безумную попытку изловить Смурова? Но увы, это были риторические мысли, – я превосходно знал, что никакая сила не может меня заставить отложить письмо...

«Мне сдается, милейший друг, что я уже писал о том, что господин Смуров принадлежит к той любопытной касте людей, которую я как-то назвал „сексуальными левшами“. Весь облик господина Смурова, его хрупкость, декадентство, жеманство жестов, любовь к пудре, а в особенности те быстрые, страстные взгляды, которые он постоянно кидает на Вашего покорного слугу, все это давно утвердило меня в моей догадке. Замечательно, что такие, несчастные в половом смысле, субъекты часто выбирают себе предмет воздыханий – правда, вполне платонический – среди знакомых, малознакомых или вовсе незнакомых им дам. Так и господин Смуров, несмотря на свою извращенность, выбрал себе в идеалы Варвару: эта смазливая, но достаточно глупая девчонка обручена с инженером Мухиным, так что Смуров вполне гарантирован, что его не привлекут к ответственности – то бишь к венцу, – и не заставят исполнить то, что он никогда бы ни с какой женщиной, будь она самой Клеопатрой, не мог, да и не желал бы исполнить. Кроме того, „сексуальный левша“ – признаюсь, я нахожу это выражение исключительно удачным, – часто питает склонность к нарушению закона, закона человеческого, каковое нарушение ему тем более легко совершить, что нарушение законов природы уже налицо. И опять же господин Смуров не является исключением. Представьте себе, что Филипп Иннокентьевич Хрущов на днях мне конфиденциально поведал, что Смуров – вор, вор в самом вульгарном смысле этого слова. Мой собеседник, оказывается, дал в руки господину Смурову серебряную табакерку с каббалистическими знаками – очень старинную вещь – и просил его показать ее знатоку. Смуров взял эту красивую и античную вещь, а на следующий день со всеми признаками растерянности объявил Хрущову, что вещь он, мол, потерял. Выслушав Хрущова, я разъяснил ему, что иногда склонность к краже – явление чисто патологическое и даже имеет научное название: клептомания. Хрущов, как многие милые, но недалекие люди, стал наивно отрицать, что в данном случае мы имеем дело не с преступником, а с душевнобольным. Я не стал приводить те доводы, которые бы, конечно, убедили его. Для меня все ясно как день. Вместо того чтобы клеймить Смурова унижительной кличкой вора, я искренно его жалею, как это ни кажется парадоксально.

Погода изменилась к худшему, или, вернее сказать, к лучшему, – ибо не суть ли эти слякоть и ветер предзнаменования весны, милой маленькой весны, которая даже в сердце пожилого человека будит неясные желания? Мне приходит в голову афоризм, который, несомненно –»

Я просмотрел письмо до конца. Больше ничего не было для меня интересного. Легко кашлянув, недожжащими руками я аккуратно сложил странички.

«Конечная остановка, сударь», – сказал надо мною суровый голос.

Ночь, дождь, городская окраина...

6

Смуров, в замечательной черной дохе с дамским воротом, сидит на ступенях лестницы. Вдруг к нему спускается Хрущов, тоже в дохе, и садится с ним рядом. Смурову очень трудно начать, но времени мало, надо решиться. Он высвобождает тонкую белую руку с переливающимися перстнями – все рубины, рубины – из мехового рукава и, пригладив пробор, говорит: «Я хочу кое-что вам напомнить, Филипп Иннокентьевич. Пожалуйста, слушайте внимательно». Хрущов кивает, сморкается – у него сильный насморк от постоянного сидения на лестнице, – кивает опять, шевеля опухшим носом. Смуров продолжает: «Я буду говорить о небольшом инциденте, происшедшем недавно. Пожалуйста, слушайте внимательно». – «Я к вашим услугам», – отвечает Хрущов. «Мне трудно начать, – говорит Смуров. – Я могу выдать себя неосторожным словом. Слушайте внимательно. Слушайте меня, пожалуйста. Мне важно, чтобы вы поняли, что я возвращаюсь к этому инциденту без всякой задней мысли. Мне и в голову не может прийти, что вы считаете меня вором. Согласитесь сами, что знать это я не могу, ведь я чужих писем не читаю. Я хочу, чтобы вы поняли, что наш разговор совершенно случаен... Вы слушаете?» – «Продолжайте», – говорит Хрущов, кутаясь в доху. «Итак, Филипп Иннокентьевич, давайте вспомним. Вспомним, как вы мне дали табакерку. Вы меня просили ее показать Вайнштоку. Слушайте внимательно, Филипп Иннокентьевич. Уходя от вас, я держал ее в руках. Нет, нет, пожалуйста, не читайте азбуки, я могу говорить и без азбуки... И вот – я клянусь, клянусь Ваней, клянусь всеми женщинами, которых любил, клянусь, что каждое слово того, чье имя я произнести не могу – иначе вы подумаете, что я читаю чужие письма, а потому способен и на воровство, – клянусь, что каждое его слово – ложь, – я действительно ее потерял. Я пришел к себе, и ее не было, я не виноват, я только очень рассеян, и я так люблю ее». Но Хрущов не верит, он качает головой, и напрасно Смуров клянется, напрасно заламывает белые, сверкающие руки, – все равно, нет таких слов, чтобы убедить Хрущова. (И тут мой сон растратил свой небольшой запас логики: лестница, на которой происходил разговор, уже высилась сама по себе, среди открытой местности, и внизу были сады террасами, туманный дым цветущих деревьев, и террасы уходили вдаль, и там был, кажется, портик, в котором горело сквозной синевой море.) «Да-да, – с угрозой в голосе тяжело говорит Хрущов, – в табакерке кое-что было, и потому она незаменима. В ней была Ваня, – да, да, это иногда бывает с девушками, – очень редкое явление, – но это бывает, это бывает...»

Я проснулся. Было раннее утро. Стекла дрожали от проезжавшего

грузовика. Окно давно не бывало покрыто поволокой лилового румянца, – ибо приближалась весна. И задумался я над тем, как много произошло за это время, – и сколько новых людей я узнал, и как увлекателен, как безнадежен сыск, мое стремление найти настоящего Смурова... Что скрывать: все те люди, которых я встретил, – не живые существа, а только случайные зеркала для Смурова, но одно существо среди них – самое важное для меня, самое ясное зеркало – все еще отказывалось выдать мне смуровское отражение. Легко и совершенно безобидно, созданные лишь для моего развлечения, движутся передо мной из света в тень жители и гости пятого дома по Павлинъей улице. Опять Мухин, приподнявшись с дивана, тянется через стол к пепельнице, но ни его лица, ни руки его с папиросой я не вижу, а вижу только другую руку его, которой он – уже, уже бессознательно! – опирается на мгновение о Ванино колено. Опять лицо Романа Богдановича, бородатое, с двумя красными яблоками вместо скул, наливается и дует над чаем, и опять Марианна Николаевна закидывает ногу на ногу, худую ногу в абрикосовом чулке. И в шутку, – в Сочельник, кажется, – напялив котиковую шубу жены, Хрущов перед зеркалом принимает витринные позы и ходит по комнате при общем смехе, который становится понемногу неестественным, оттого что балагур Хрущов всегда слишком растягивает шутку. И прелестная маленькая рука Евгении Евгеньевны, с блестящими, словно мокрыми ногтями, берет лопатку для игры в пинг-понг, и целлулоидовый мячик с трогательным звуком пенькает через зеленую сетку. И в полутьме проплывает Вайншток, сидя за спиритическим столиком как за рулем; и опять сонно проходит из двери в дверь и вдруг начинает шептать и поспешно раздеваться горничная Гильда или Гретхен. По желанию моему я ускоряю или, напротив, довожу до смешной медлительности движение всех этих людей, группирую их по-разному, делаю из них разные узоры, освещаю их то снизу, то сбоку... Так, все их бытие было для меня только экраном.

Но вот, в последний раз жизнь сделала попытку мне доказать, что она действительно существует, тяжелая и нежная, возбуждающая волнение и муку, с ослепительными возможностями счастья, со слезами, с теплым ветром. Я поднялся к ним в полдень, и комнаты были пусты, и окна были раскрыты, и где-то жадным, страстным жужжанием исходил пылесос. И вдруг из гостиной, сквозь стеклянную дверь на балкон, я увидел склоненную Ванину голову; Ваня сидела с книгой на балконе, и – как ни странно – это было первый раз, что я заставал ее одну. С тех пор как я заглушал свою любовь при помощи мысли, что и Ваня, как все другие, только воображение мое, только зеркало, – я усвоил с ней особый тончик, и теперь, здороваясь, я сказал без всякого стеснения, что она, «как принцесса, смотрит на весну с высокой башни». Балкон был совсем маленький, с пустыми, зелеными ящиками для цветов и с разбитым глиняным горшком в углу, который я мысленно сравнил со своим сердцем, ибо очень часто манера говорить с человеком отражается на манере мыслить в его присутствии. И было тепло, хоть не очень солнечно, а так, что-то мутное, сырое, – разбавленное солнце и ветерок, пьяненький, но кроткий, после пребывания в каком-нибудь сквере, где уже видна молодая трава, зеленый бобрик по чернозему. Вдохнув этот воздух, я вспомнил, что через неделю – Ванина свадьба, и вот тут-то я отяжелел, опять забыл Смурова, забыл, что нужно беспечно говорить, и, отвернувшись, стал смотреть вниз, на улицу. Как мы были высоко, – и совершенно одни. «Он еще не скоро

придет, – сказала Ваня. – В этих учреждениях страшно задерживают». – «Ваше романтическое ожидание...» – начал я, снова принуждая себя к спасительной легкости и стараясь уверить себя, что этот весенний ветер тоже какой-то пошленький и что мне очень весело... Я еще не взглянул хорошенько на Ваню, мне всегда нужно было некоторое время, чтобы освоиться с ее присутствием, прежде чем посмотреть на нее. Теперь оказалось, что она в белой вязаной кофточке с треугольным глубоким вырезом, и прическа особенно гладкая. Она продолжала смотреть сквозь лорнет в раскрытую книжку, – и как мы были высоко над улицей, прямо в нежном шершавом небе, и пылесос в комнатах перестал жужжать. «Дядя Паша умер, – сказала она, подняв голову. – Да. Сегодня пришла телеграмма».

Какое мне было дело до того, что окончилось существование этого веселого, полоумного старика? Но при мысли, что вместе с ним умер самый счастливый, самый недолговечный образ Смурова, образ Смурова-жениха, я почувствовал, что уже не могу сдержать давно поднимавшееся во мне волнение. Не знаю точно, с чего началось, были, вероятно, какие-то подготовительные движения, но помню, что я очутился сидящим на широкой плетеной ручке Ваниного кресла и уже сжимал ей кисть – давно снисшееся, запретное прикосновение. Она сильно покраснела, и вдруг ее глаза загорелись слезами, – я так явственно видел, как темное нижнее веко налилось блестящей влагой. Одновременно она улыбалась – как будто хотела сразу мне дать с невиданной щедростью все выражения своей красоты. «Да, ужасно жалко его», – говорила она, но я ее перебил: «Так дальше нельзя, нельзя выдержать, – забормотал я, то хватая ее за кисть, сразу напрягавшуюся, то поворачивая покорный лист книги у нее на коленях, – я должен вам сказать... Теперь все равно, я уйду и больше никогда вас не увижу. Я должен вам сказать. Ведь вы меня не знаете... Но право же, я ношу маску, я всегда под маской...» – «Господь с вами, – сказала Ваня. – Я очень вас хорошо знаю, и все вижу, и все понимаю. Вы – хороший, умный человек. Подождите, я возьму платочек. Вы на него сели. Нет, он упал. Спасибо. Пожалуйста, оставьте мою руку, не надо меня так трогать. Ну пожалуйста».

И она опять улыбалась, старательно и смешно поднимая брови, словно приглашая меня улыбнуться тоже, но я уже был сам не свой, вокруг меня летала какая-то невысказанная надежда, я продолжал быстро говорить и все время двигал руками, плечами, так что скрипела подо мной плетеная ручка кресла, и мгновениями Ванин шелковый пробор оказывался у самых моих губ, и тогда она осторожно отклоняла голову.

«Больше жизни, – говорил я поспешно. – Больше жизни, и уже давно – с первой минуты. И вы первый человек, который сказал мне, что я хороший...»

«Пожалуйста, не надо, – просила Ваня. – Вы только себе делаете больно, и мне тоже. Я вам лучше расскажу, как Роман Богданович мне объяснялся в любви. Это было уморительно...»

«Не смейте, – крикнул я. – При чем этот шут? Я знаю, я знаю, что вы были бы счастливы со мной. И если вам что-нибудь во мне не нравится, я изменюсь, как вы захотите, я изменюсь».

«В вас мне все нравится, – сказала Ваня. – Даже ваше поэтическое воображение. Даже то, что вы иногда преувеличиваете. А главное, ваша доброта, – ведь вы очень добрый, и очень любите всех, и вообще вы такой смешной и милый. Но все-таки, пожалуйста, перестаньте меня хватать за руку, а то я просто встану и уйду».

«Значит, все-таки есть надежда?» – спросил я.

«Никакой, – сказала Ваня. – Вы же отлично сами знаете. И он сейчас должен прийти».

«Вы его не можете любить, – закричал я. – Это обман. Он недостойн вас. Я бы мог вам рассказать про него ужасные вещи...»

«Ну, довольно», – сказала Ваня и хотела встать. Но тут, желая остановить ее движение, я невольно и неудобно ее обнял, и, от ощущения сквозного шерстяного тепла ее кофточки, во мне забурлило мучительное и мутное наслаждение, я готов был на все, на самую отвратительную пытку, – но я должен был хоть раз ее поцеловать.

«Почему вы сопротивляетесь? – лепетал я. – Что вам стоит? Для вас это маленький акт милосердия, а для меня – все». Ей удалось высвободиться и встать. Она отошла к перилам балкончика, покашливая и шурясь на меня, и где-то в небе наметился ровный, струнный звук, заключительная нота. Мне уже нечего было терять. Я ей высказал все до конца, я кричал, что Мухин не любит, не может ее любить, я быстро осветил чудесную перспективу нашего возможного счастья вдвоем и, наконец, почувствовав, что сейчас разрыдаюсь, бросил с размаху об пол книгу, которую почему-то держал в руках, и, повернувшись, навсегда оставил Ваню на балконе, вместе с ветром, вместе с мутным весенним небом, вместе с таинственным басовым звуком невидимого аэроплана.

В гостиной, неподалеку от двери, сидел Мухин и курил. Он проводил меня глазами и спокойно сказал: «Какой вы, однако, негодяй». Я холодно ему кивнул и вышел.

Вернувшись вниз к себе, я взял шляпу и поспешил на улицу. Зайдя в первый попавшийся цветочный магазин, я стал постукивать каблуком и громко посвистывать, так как в магазине никого не было. Прелестно и свежо пахло цветами, что почему-то усиливало мое нетерпение. В зеркальном стекле сбоку от выставки продолжалась улица, но это было продолжение мнимое: автомобиль, проехавший слева направо, вдруг исчезал, хотя улица невозмутимо его ждала, исчезал и другой, ехавший ему навстречу, – ибо один из них был только отражением. Наконец явился продавщица. Я выбрал большой букет ландышей: с их тугих колокольчиков капала вода, у продавщицы безымянный палец был обмотан тряпочкой, вероятно, укололась. Она ушла за прилавок и долго возилась, шуршала бумагой. Связанные стебли образовали что-то толстое и твердое, я никогда не думал, что ландыши могут быть такие тяжелые. Взявшись за дверную скобку, я увидел, как сбоку в зеркале поспешило ко мне мое отражение, молодой человек в котелке, с букетом. Отражение со мною слилось, я вышел на улицу.

Торопился я чрезвычайно, семеня, семеня, в облачке ландышевой сырости, стараясь ни о чем не думать, стараясь верить в чудную врачующую силу той определенной точки, к которой я стремился. Это был единственный способ предотвратить несчастье: жизнь, тяжелая и жаркая, полная знакомого страдания, собиралась опять навалиться на меня, грубо опровергнуть мою призрачность. Страшно, когда явь вдруг оказывается сном, но гораздо страшнее, когда то, что принимал за сон, легкий и безответственный, начинает вдруг остывать явью. Надо было это пресечь, и я знал, как это сделать.

Дойдя до моей цели, я стал звонить, не переводя духа, звонил так, словно утолял нестерпимую жажду, долго, жадно, самозабвенно звонил. «Будет, будет, будет», – забормотала она, открывая мне дверь. Я переметнулся через порог и сразу сунул ей в руки купленный для нее букет. «Ах, – сказала она. – Как красиво!» – и, немного оторопев, уставилась на меня своими старыми, бледно-голубыми глазами. «Не благодарите меня, – крикнул я, стремительно подняв руку, – но вот что: позвольте мне взглянуть на мою бывшую комнату, умоляю вас». – «Комнату? – переспросила старушка. – Простите, она, к сожалению, не свободна. Но как красиво, как мило...» – «Вы не совсем меня поняли, – сказал я, дрожа от нетерпения. – Мне просто хочется взглянуть. Только это. Больше ничего. Вот я принес вам цветы. Я прошу вас. Ведь жилец, вероятно, на службе...»

Ловко ее миновав, я побежал по коридору, а она за мной. «Боже мой, комната сдана, – повторяла старушка. – Доктор Гибель съезжать не собирается. Я не могу вам ее сдать».

Я рванул дверь. Расположение мебели было несколько изменено; другой кувшин стоял на умывальнике; а за ним в стене я нашел тщательно замазанную дырку, – да, я ее нашел и сразу успокоился, глядел, прижав руку к сердцу, на сокровенный знак моей пули: она доказывала мне, что я действительно умер, мир сразу приобретал опять успокоительную незначительность, я снова был силен, ничто не могло смутить меня, я готов был вызвать взмахом воображения самую страшную тень из моей прошлой жизни.

С достоинством поклонившись старушке, я вышел из этой комнаты, где некогда какой-то человек, согнувшись вдвое, отпустил смертельную пружину. Проходя через переднюю, я заметил на столе мой букет и, словно в рассеянии, на ходу прихватил его, подумав, что тупая старушка мало заслужила такой дорогой подарок и что можно иначе его применить, послать его, например, Ване с запиской, полной грустного юмора... Влажная свежесть цветов была мне приятна, тонкая бумага местами разошлась, и, сжимая пальцами холодное зеленое тело стеблей, я вспоминал журчание, сопроводившее меня в небытие. Я шел не спеша по самому краю панели и жмурился, представляя себе, что иду над бездной, и вдруг меня сзади окликнул голос:

«Господин Смуров», – сказал он громко, но неуверенно.

Я обернулся на звук моего имени, причем одной ногой невольно сошел на мостовую. Кашмарин, Матильдин муж, сдергивал желтую перчатку, страшно спеша мне протянуть руку. Он был без пресловутой трости и как-то изменился – пополнел, что ли, – выражение у него было смущенное, он показывал крупные, тусклые зубы, одновременно скалясь на строптивую перчатку и улыбаясь мне. Наконец ко мне хлынула его растопыренная рука. Я почувствовал странную слабость и умиление, даже защипало в глазах. «Смуров, – сказал он, – вы не можете представить себе, как я рад, что вас встретил. Я вас искал как безумный, никто не знал вашего адреса».

Тут я спохватился, что слишком любезно слушаю это привидение из моей прошлой жизни, и, решив немного его осадить, сказал: «Мне не о чем с вами говорить. Будьте еще благодарны, что я не подал на вас в суд». – «Смуров, – протянул он виновато, – я ведь прошу у вас прощения за мою подлую вспыльчивость. Я не находил себе места после нашего... крупного разговора. Я ужасался. Разрешите мне признаться вам как джентльмен джентльмену: я ведь потом узнал, что вы были не первым и не последним, и я развелся, да, я развелся».

«Между нами не может быть никаких разговоров», – сказал я – и понюхал мой толстый, холодный букет.

«Ах, не будьте так злопамятны, – воскликнул Кашмарин. – Ну, ладно, – ударьте меня, – двиньте хорошенько, а затем давайте мириться. Не хотите? Вот, вы улыбаетесь – это хорошо. Не прячьте лицо в ландыши, – вы улыбаетесь. Итак, мы теперь можем говорить как друзья. Разрешите мне вас спросить, сколько вы зарабатываете?»

Я еще немного пожался, но потом ответил. Мне все время приходилось сдерживать желание сказать этому человеку что-нибудь приятное, растроганное.

«Вот видите, – сказал Кашмарин. – Я вам устрою службу, на которой будете получать втрое больше. Заходите завтра утром ко мне, в отель „Монополь“. Я вас кое с кем познакомлю. Служба вольготная, не исключены поездки на Ривьеру, в Италию. Автомобильное дело. Зайдете?»

Он, как говорится, попал в точку. Вайншток и его книги давно мне приелись. Я опять стал нюхать холодные цветы, скрывая в них свое удовольствие и благодарность.

«Еще подумая», – сказал я и чихнул. «На здоровье, – воскликнул Кашмарин. – Так не забудьте. Завтра. Как я рад, как я рад, что вас встретил».

Мы расстались. Я тихо побрел дальше, уткнувшись в свой букет.

Кашмарин унес с собою еще один образ Смурова. Не все ли равно какой? Ведь меня нет, – есть только тысячи зеркал, которые меня отражают. С каждым новым знакомством растёт население призраков, похожих на

меня. Они где-то живут, где-то множатся. Меня же нет. Но Смуров будет жить долго. Те двое мальчиков, моих воспитанников, состарятся, – и в них будет жить цепким паразитом какой-то мой образ. И настанет день, когда умрет последний человек, помнящий меня. Быть может, случайный рассказ обо мне, простой анекдот, где я фигурирую, перейдет от него к его сыну или внуку, – так что еще будет некоторое время мелькать мое имя, мой призрак. А потом конец.

И все же я счастлив. Да, я счастлив. Я клянусь, клянусь, что счастлив. Я понял, что единственное счастье в этом мире – это наблюдать, соглядатайствовать, во все глаза смотреть на себя, на других, – не делать никаких выводов, – просто глазеть. Клянусь, что это счастье. И пускай сам по себе я пошловат, подловат, пускай никто не знает, не ценит того замечательного, что есть во мне, – моей фантазии, моей эрудиции, моего литературного дара... Я счастлив тем, что могу глядеть на себя, ибо всякий человек занятен, – право же, занятен! Мир, как ни старайся, не может меня оскорбить, я неуязвим. И какое мне дело, что она выходит за другого? У меня с нею были по ночам душераздирающие свидания, и ее муж никогда не узнает этих моих снов о ней. Вот высшее достижение любви. Я счастлив, я счастлив, как мне еще доказать, как мне крикнуть, что я счастлив, – так, чтобы вы все наконец поверили, жестокие, самодовольные...

Предисловие автора к американскому изданию

<...>[1] Оригинал написан в 1930 году в Берлине, где мы с женой снимали две комнаты у одного немецкого семейства на тихой Луитпольдштрассе, а в конце того же года он был напечатан в эмигрантском журнале «Современные записки», выходившем в Париже. Население этой книги – любимые персонажи моей литературной юности: русские изгнанники, обитающие в Берлине, Париже или Лондоне. Они, разумеется, вполне могли бы быть норвежцами в Неаполе или амбрасьянцами в Амбридже: меня никогда не занимали социальные вопросы; я просто пользовался материалом, который оказывался под рукой, подобно тому как разговорчивый собеседник за обедом в ресторане набрасывает карандашом на скатерти уличный перекресток или располагает крошку и две маслины в виде диаграммы между меню и солонкой. Забавно, что вследствие этого равнодушия к общественной жизни и к притязаниям истории круг людей, на котором художник безпечно задержал свой взгляд, приобретает характер ложной устойчивости и принимается и писателем-эмигрантом, и эмигрантами-читателями как нечто само собою разумеющееся в заданное время и в заданном месте. На смену Ивану Ивановичу и Льву Осиповичу 1930 года давно пришли нерусские читатели, и их смущает и раздражает то обстоятельство, что они должны вообразить себе общество, о котором не имеют ни малейшего понятия; ибо я не устану повторять, что губители свободы выдрали целые пуки страниц из прошлого, начиная с того времени, около полувека тому назад, когда советской пропаганде

удалось обманом убедить общественное мнение за границей не замечать или принижать значение русской эмиграции (все еще ждущей своего летописца).

Время повествования – 1924–1925 годы. Гражданская война закончилась четырьмя годами раньше. Ленин только что умер, но его тиранический режим продолжает здравствовать. Двадцать немецких марок стоят чуть меньше пяти долларов [2]. Между апатридами, живущими в том Берлине, что описан в книге, встречаются люди самых разных состояний, от нищих до преуспевающих коммерсантов. К этим последним принадлежит Кашмарин, Матильдин *cauchemaresque* муж (вероятно, бежавший из России южным маршрутом через Константинополь), равно как и отец Евгении и Вани, пожилой господин, который умело руководит лондонским отделением одной немецкой компании и держит танцовщицу. Кашмарин относится к сословию, которое англичане называют «средним», но две барышни, живущие в доме номер 5 на Павлинъей, явно благородного происхождения, неважно титулованного или нет, – что впрочем не мешает им иметь мещанские литературные вкусы. Муж Евгении, человек с мясистым лицом и с фамилией, которая на теперешний слух звучит несколько комично, служит в берлинском банке. Полковник Мухин, неприятный сухарь, воевал в 1919 году в армии Деникина, а в 1920-м – Врангеля, говорит на четырех языках, имеет холодные, светские манеры и верно будет преуспевать на теплом местечке, на которое его прочит будущий тесть. Роман Богданович – остзеец, в котором больше немецкой культуры, чем русской. Чудаковатый еврей Вайншток, женщина-врач, она же пацифистка Марианна Николаевна, и сам повествователь, ни к какому классу не относимый, суть представители разнообразной русской интеллигенции. Эти разъяснения должны несколько облегчить чтение тем читателям, которые вроде меня остерегаются романов, где призрачные герои обитают в незнакомой среде, – например, переводов с венгерского или китайского.

Как известно (если воспользоваться знаменитым русским трафаретом), мои книги отличает не только полное и благословенное отсутствие всякого общественного значения, но и совершенная мифонепроницаемость; фрейдянцы жадно кружат возле них, подлетают со своими зудящими яйцеводами, но останавливаются, принохиваются и отпрядают. С другой стороны, серьезный психолог может заметить сквозь мои забрызганные сверкающими дождевыми каплями кристогаммы мир душерастворения, где бедный Смуров существует лишь постольку, поскольку он отражается в сознании других людей, которые, в свою очередь, пребывают в том же странном, зеркальном состоянии, что и он. По своей фактуре повесть напоминает уголовный роман, но на самом деле автор отрицает всякое намерение разыгрывать читателя, дурачить его, морочить, и вообще вводить в заблуждение. Напротив, только тому, кто сразу поймет, в чем дело, «Соглядатай» доставит истинное удовольствие. Маловероятно, что даже очень наивному читателю этой мерцающей повести понадобится много времени, чтобы догадаться, кто такой Смуров. Я испытал это на пожилой англичанке, двух университетских кандидатах, хоккейном тренере, враче и соседском мальчишке двенадцати лет. Мальчик догадался первым, сосед – последним.

Тему «Соглядатай» составляет предпринятое героем расследование,

которое ведет его через обставленный зеркалами ад и кончается тем, что два лица сливаются в одно. Не знаю, ощутит ли теперешний читатель то же острое наслаждение, что испытывал я тридцать пять лет тому назад, пригоняя друг к другу в известном тайном порядке различные стадии следствия, которым занят повествователь; как бы то ни было, важно не то, что порядок этот тайный, а то, что он имеется. Мне кажется, что розыски Смурова продолжают быть превосходной охотой, несмотря на то, что позади столько времени и книг и что мираж одного языка сменился оазисом другого. Читатель не станет мысленно (если только я верно читаю его мысли) низводить содержание этой прозы к чрезвычайно болезненной любовной драме, в которой истерзанное сердце не просто отвержено, но еще и унижено и наказано. Силы воображения, которые в конечном счете суть силы добра, неизменно на стороне Смурова, и самая горечь мучительной любви оказывается не менее пьянящей и укрепительной, чем высшие восторги любви взаимной.

Владимир Набоков

Монрё, 19 апреля 1965 года

Примечания

1

Пропущен целиком первый абзац, в котором Набоков объясняет свой выбор заглавия для английской версии «этого небольшого романа» (The Eye – т. е. «Глаз»; по-английски это слово подобозвучно слову «я», с намеренной игрой) и сообщает, что он был напечатан под этим заглавием в первых трех номерах американского иллюстрированного журнала «Повеса» (Playboy) за 1965 год. – Г. Б.

2

Т. е. марка вернулась к своему обычному курсу (довоенному золотому) после обвала 1922–1923 годов, в последней низшей точке которого, 14 ноября 1923 года, один доллар стоил четыре триллиона двести миллиардов марок. На другой день новая рентенмарка, через полгода замененная постоянной райхсмаркой, вышла без 11 нолей, т. е. один

доллар стал стоить 4,2 марки; инфляция кончилась, жить стало не дешевле, чем в других странах, и многие русские эмигранты стали уезжать из Берлина, большею частью в Париж. (За эту историческую справку я признателен г. Циммеру, издателю лучшего собрания сочинений Набокова.)